

Метаязык
политической науки

Виктор Мартьянов





**ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА**

Серия «Феноменология политического пространства»

В серии монографий «Феноменология политического пространства» современные политические процессы рассматриваются как явления, сами себя обнаруживающие в структурах повседневности. Проявленность политического бытия прослеживается в динамике при переходе от одной формы выражения к другой. Политический слоган, фантастические образы будущего политического устройства общества, политическое граффити, обещания, мифологемы и другие феномены репрезентуют новейший политический порядок.

Научные редакторы серии:

В.Н. Руденко, К.В. Киселев

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт философии и права

В.С. Мартьянов

**МЕТАЯЗЫК
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ**

Екатеринбург – 2003

УДК 30:32

ББК-Ф66

М 23

Мартьянов В.С.

Метаязык политической науки. Екатеринбург: УрО РАН, 2003.

ISBN 5-7691-1473-8

В монографии рассматривается метаязык политической науки, исследовательским объектом которого выступает не фактическая реальность, а ценностные интерпретации политической реальности, представленные в базовых политологических теориях и парадигмах. Автором выделены основные модели метаязыка политической науки и проанализирована их релевантность в описании актуальных парадигм российской политики.

В книге подробно исследованы проблемы соотношения идеологии, власти и научного знания, влияния методологии описания политики на ее теоретическую интерпретацию и общая трансформация политического знания, связанная с его «лингвистическим поворотом».

Книга адресована как специалистам в области социально-политических наук, так и всем интересующимся актуальными проблемами политической науки.

Ответственный редактор: канд. филос. наук К.В. Киселев

Рецензенты: докт. полит. наук О.Ф. Русакова
канд. полит. наук Л.Г. Фишман

Издание осуществлено в соответствии с условиями гранта, предоставленного по результатам конкурса научных проектов молодых ученых и аспирантов УрО РАН 2002 г. на выполнение проекта по теме «Метаязык власти: Мораль. Идеология. Миф».

УДК 30:32

ББК-Ф66

М $\frac{125(03)}{8П6(03)1998}$ БО

ISBN 5-7691-1473-8

© Институт философии и права УрО РАН, 2003

© Мартьянов В.С., 2003

© Руденко В.Н., Киселев К.В., идея и название серии

Предисловие

Проблематизация методологических оснований современной политической науки связана с тем, что после экспоненциального бума отечественной политологии, некритичного усвоения и применения огромного числа теорий, концепций, подходов, выработанных в мировой политической науке, наступил этап «теоретического отрезвления». Он связан с рефлексией самой противоречивой структуры политического знания, метода и аксиоматических ценностей политических теорий, с их социокультурными и историческими обусловленностями. Все глубже осознается, что в политической науке не существует позиции: а) универсального наблюдателя, б) объективной и очевидной для всех политической реальности, где политическая теория является ее зеркальным отражением. Оказалось, что политика может конструироваться в представлении, в том числе и как «очевидность», политической теорией. И социальная составляющая этих конструктов определяет дискурс политической практики. А условия производства политического знания являются детерминантами политических истин.

Современная ситуация мышления в отечественной политической науке характеризуется минимальной саморефлексией и множеством ложных дилемм, вырастающих из путаницы и аморфности понятий, умолчания о фундаментальных методологических противоречиях. Последние не решаемы апелляцией к политической реальности, фактам и онтологической аргументации, имея в отношении различных прикладных интерпретаций политической картины аксиоматический характер. Отсюда, как следствие, рост необходимости аксиоматического осмысления политической науки. Назрела актуальность переноса акцента познания с политического как объекта, т.е. «что», на самого познающего субъекта. На то, «кто и как» мыслит о политике внутри политической науки. Субъектом политической теории все более осознается, что ценности определяют теорию, метод конституирует объект, описание задает характеристики явления, а «как» детерминирует «что». Таким образом, осуществляется своеобразный поворот от квазинейтрального, бессубъектного описания политических объектов как применения универ-

сальной теории к частному предмету – к осмыслению: а) самого субъекта описания политики; б) методов описания; в) условий (контекстов) производства политического знания.

Речь идет о познании исходных априорностей, из которых «сконструированы» политические концепции: какие исторические, культурные, этические императивы их породили, как они проявляются в методологическом аппарате теории, в свою очередь классифицирующей и оценивающей политическую реальность определенным образом? Какие контекстуальные задачи решают возникающие в определенные моменты истории политологические методы, что влияет на их «судьбу», (т.е. изменения, релевантность, актуальность)? Значение подобных вопросов особенно возрастает во «времена перемен», когда происходит смена парадигм, нормативных структурно-теоретических моделей политики. Эта смена с особой отчетливостью обнажает методологические дилеммы в фундаменте политической науки, призванные поддерживать общий каркас политической теории.

Актуализация эпистемологических оснований метаязыка «научного описания» политики привела к осознанию двойственности, маргинальности положения политической науки в ряду общественных и гуманитарных наук. Эта двойственность связана с ее опорой, с одной стороны, на общенаучный код истины и интеллектуальную автономию ученого, с другой – на ее конкретно-исторические дискурсы, ангажированные политическим полем властных отношений, социально-экономическими интересами, культурой, волей политических субъектов и т.д.

Проблема самонаблюдения политической науки тесно связана с осмыслением детерминации политического знания отношениями по поводу власти, которые представляет политика. Более того, границы политического, структура и свойства политических феноменов прямо детерминированы априорным выбором теоретического метаязыка описания этого поля и его феноменов. Отрицание такой детерминированности «объективистскими» теориями, изгоняющими и заклинающими все субъективное, ценностное, моральное, ангажированное и т. д., как «бесов» и «идолов», мешающих описывать политическое «как оно есть на самом деле», явля-

ется не более чем методологическим приемом, призванным разрешить дополнительные околонучные задачи политологического дискурса, связанного с апологетикой сложившегося идеологического порядка и легитимацией власти.

Средством выявления априорных аксиом политического познания, того, «кто, как и с помощью чего» определяет выбор метода и критерии релевантности политических теорий, в нашем исследовании выступает метаязык политической науки. Метаязык как методологическая модель предназначен для осмысления самого политического мышления, т.е. рефлексии теоретического субъекта политической науки над методологическими принципами политического познания, сравнительного анализа политических теорий как интерпретаций политической реальности.

Причем метаязык, как и политическая теория, не может выполнять двойную задачу: он осмысляет исходные методологические установки политической теории как своего языка-объекта, сравнивает политические теории как интерпретации политики, но не может определить критерии «истинного соотношения» реальной политики и некой идеальной политической теории, так как его задача – рефлексия над теориями и методами, уже определенным образом осмысляющими политику.

Исследование методологически ориентировано на «объективацию объективирующего субъекта» и «наблюдение за наблюдателем». Книга посвящена выявлению ценностных и методологических основ различных политических теорий, осмыслению их детерминирующих контекстов, выходящих за пределы научной политической теории.

Глава I

СТРУКТУРА ДИСКУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

§ 1. К постановке проблемы

В политической науке проблема собственного метаязыка выходит на первый план, когда научное сообщество, с одной стороны, вдруг замечает изнанку, неадекватность общепринятого научного языка описания новым политическим контекстам и, одновременно, с другой стороны, его связь с исчерпавшейся историко-культурной ситуацией мышления и неким политическим субъектом, которые эту политическую науку легитимировали. Кардинальная трансформация российской политики в последние 15 лет и смена ценностно-методологических парадигм политической науки, самих способов осмысления политической реальности находились в состоянии взаимной детерминации.

Эффективный подход к решению проблемы самоописания связан с вводимой нами в оборот политической науки концепцией метаязыка политической науки. С помощью концепции метаязыка становится возможным прояснение методологической структуры политической рефлексии. Метаязык представляет собой познавательно-аксиологическую структуру политической теории, с помощью которой мыслящий субъект способен тематизировать самого себя. Метаязык представляет собой теоретический язык «второго уровня», мета-теорию как объективацию «обычной теории», внутренний язык политической науки. Он не обращен непосредственно к политике как таковой, к анализу политической реальности. Его означаемым является не политика, а сама политическая теория. Поэтому если политическая теория является теоретическим языком, для которого объектом исследования является политика как таковая, то метаязык политической науки является теоретическим языком второго уровня, для которого предметом анализа выступает сама политическая теория как реальность, как текст, как язык-объект.

Метаязык политической науки – это методологически искусственно выделяемая структура языка, с помощью которого становит-

ся возможным говорить о другом языке, т.е. языке политической теории. Последняя анализирует политику как объект (реальность), но не в силах объективировать собственные аксиоматичные представления. Политическая теория как научный язык описания не может одновременно вести анализ политической реальности и рефлексировать принципы этого анализа.

Таким образом, суть исследования состоит в выделении метаязыка политической науки как рефлексивной структуры теоретического субъекта, с помощью которой он уясняет самого себя. Метаязык политической науки структурно связан с аксиологическим выбором способа отношений означающего и означаемого в политической теории, закрепляемого в форме знака или символа. Он априорен и трансцендентален, будучи выявляем лишь через прерывание идеологической структуры самореферентного описания политики.

Метаязык априорен не сам по себе, но относительно политической теории. Когда политическая теория анализирует политическую реальность, она уже не задается вопросом о методе этого анализа, он известен и выбран заранее. Но с точки зрения того, что (или кто) определяет методологию политической теории, метаязык политической науки связан с аксиолого-методологическим выбором одного из соотношений означаемого и означающего, определяющего язык политической теории, которая, в свою очередь, описывает политику.

Априорность означает, что метаязык конструируется для анализа методологического аппарата политических теорий. Метаязык политической науки предшествует и во многом детерминирует «условия и формы опыта» политических теорий, связанные с особенностями их методологического инструментария и априорных аксиом познания. Осмысление конструктивных особенностей политической теории, определяющих их выводы и картину политической реальности, является априорным относительно самих политических теорий.

Метаязык политической науки – это набор базовых методологических противоречий, который предшествует политической теории. Часто политическая теория просто не осознает существо-

вания подобного фундаментального выбора на ценностном уровне, тем не менее активно используя свой неизбежный, но бессознательный выбор в политических исследованиях.

Рефлексивность метаязыка представляет собой саморефлексию политической науки, размышление теоретика относительно собственных методологических и ценностных оснований мышления, которые обуславливают форму рефлексий «политических ученых» о политике.

Трансцендентальность метаязыка политической науки относительно политической теории выражается в том, что фундаментальные методологические дилеммы, лежащие в его основании, являются предметом трансцендентального соглашения научного сообщества относительно основ собственно политической науки: ее методов, понятий, смыслов, языков описания, «систем фраз». Подобное соглашение предшествует и определяет саму возможность политической науки.

Обращение к этим дилеммам, а тем более их интерпретация предполагает выход на недоказуемые в рамках политической науки идеологические аксиомы политического познания, на соотношение научного знания и веры, власти, идеологии. Выбор модели метаязыка политической науки можно осознать и обосновать только на ее нормативном уровне. Наличие подобного уровня признается отнюдь не всеми политологами.

Политическая теория рассматривается нами в рамках структуралистского подхода как искусственный научный язык, призванный описывать язык естественный, т.е. язык политики и политиков. Этой разбивке соответствует также феноменологическое разделение на естественный «жизненный мир» политики как объект описания и описывающую его «систему» (теорию). В этом контексте политическая теория анализирует политику, выступая как «метаязык политики». Выделяемый нами «метаязык политической науки» является искусственным языком описания «второго уровня», призванным описывать теоретический язык первого уровня, язык-объект, т.е. политическую теорию или политическую науку, которые используются нами в контексте данного исследования как синонимы.

Политическая теория, описывая жизненный мир политики, не может одновременно заниматься самонаблюдением, анализировать, «как и с помощью чего» ведется это описание. Для этого и выделяется метаязык политической науки как способ наблюдения за наблюдателем. Метаязык как комплекс норм, ценностей, представлений, дилемм определяет историческую аксиоматику теоретического политологического языка. Историческая трансформация метаязыка – миф, теология, идеология, нарратив – влечет изменение актуального типа политической «научности» в ее широком понимании: магического, теологического, экзегетического, идеологического, пострационального и т.д.

Метаязык не есть что-то идейно целостное, наоборот, это набор фундаментальных познавательных дилемм, априорный выбор внутри которых определяет существенные характеристики той или иной модели метаязыка, детерминирующей ту или иную политическую теорию.

Таким образом, областью нашего исследования является система политического знания как совокупность политических/политологических текстов, включающая в себя и политическую науку. Эта совокупность структурируется нами в виде ряда моделей метаязыка политической науки. Метаязыковые модели детерминируют методологические и аксиологические принципы политического знания, рефлекслируемые посредством выделения дискурсивной структуры политического познания. Смысл исследования, соответственно, заключается в том, чтобы выявить структуру метаязыка политической науки как метапарадигмальную основу политической теории и описать ее влияние на ценностно-познавательные парадигмы политического знания.

Эта задача распадается на ряд проблем, связанных, соответственно с: а) определением методологических оснований политической науки, смысловых координат и априорных дилемм, в рамках которых происходит структурное и нормативно-идеологическое оформление политической теории; б) осмыслением исторической трансформации метаязыка политической науки, связанной с «лингвистическим поворотом» системы политического знания от

идеологии к нарративу; в) отслеживанием того, как различные методологические модели метаязыка политической науки воплощаются в содержательных парадигмах политической теории на примере российского политического университета.

Структуралистскую иерархическую схему основных объектов нашего исследования можно представить в таблице 1.

Таблица 1

1. ↑↓ Знак ↔ Символ (шифр, код, принцип (структура) связи означающего-означаемого)
2. ↑↓Текст 1 (политическая теория/идеология – язык-объект как развернутый код или текст)
3. ↑↓Текст 2 (метаязык – текст о тексте, метатекст)
4. ↑↓Политика (генератор кодов – реальность)
5. ↑↓Культура (контекст политики)

Проблема метаязыка описания и социальной «сконструированности» научных теорий общества, человека, политики достаточно хорошо разработана в антропологии, социологии и политической философии, однако ее введение в оборот политической науки наталкивается на ряд препятствий теоретического и практического характера. Отчасти невнимание отечественных исследователей к методологическим проблемам вызвано стремлением установить хотя бы минимальный уровень теоретического согласия по поводу основ политической науки, пережившей в новейшей отечественной истории ряд фундаментальных потрясений и смену самой парадигмы политического знания.

Трудность самого подхода к давно назревшей проблеме связана преимущественно с тем, что отечественная политическая наука восприняла в качестве нормативной позитивистскую англосаксонскую модель, с ее тактикой культурной и моральной нейтральности, эмпиризмом, объективизмом, прогрессизмом, которая затрудняет обращение к самоосмыслению теоретического субъекта и метаязыку политологического исследования. Поскольку для выхода на метаязык политической науки требуется не просто описание политики в рамках той или иной теоретической парадигмы, но вы-

ход на политико-идеологические контексты и метод описания, на нормативный уровень политической науки «объективацию объективирующего субъекта» (П. Бурдьё) и «наблюдение за наблюдателем» (Н. Луман), средства позитивистской модели политологии, метод которой накладывает запрет на обращение к «макротеории» и «метапарадигме», для этого не подходят.

Выход на уровень метаязыка возможен только путем рефлексии политической науки в целом, что предполагает выход на границы научности политической науки, на то, что их устанавливает. Речь идет о восстановлении «черновика», контекстуального плана политических парадигм, путем возвращения их в исторические и социокультурные контексты, в рамках которых они оформляют образцовую модель политической научности.

Будучи направлен на политическое в целом, метаязык действительно во многом конструируется «извне», но вовсе не «вне» политической науки. Критическая политическая теория, связанная с именами К. Маркса, К. Манхейма, Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Э. Фромма и др., парадоксализируя и негативируя политику, моделирует важные составные аспекты политической теории, приоткрывая «проклятую сторону вещей», о которой умалчивает доминирующий дискурс политической науки, связанный с апологией здравого смысла и легитимацией власти.

Особое внимание нами уделено интерпретации различия познавательных структур идеологии и утопии, введенного К. Манхеймом и переносимого нами на политическое знание в целом. В данном случае утопия является теоретическим конструктом, взрывающим слишком очевидные властно-идеологические аксиомы политического знания, что облегчает осмысление онтологических политических истин, связанных с движением истории, изменениями, различиями, контекстами.

Модели политологических метаязыков выделяются нами главным образом путем перенесения структуралистской методологии на политическую науку. Особое значение в данном контексте имеют труды Р. Барта, разработавшего структуру метаязыка как языка «второго порядка», для которого означающие доксихического

политического языка являются референтом, означаемым, начальным условием политологической саморефлексии.

§ 2. Знаковая и символическая модели метаязыка политической науки

Аксиома знака и аксиома символа лежат в основании двух фундаментальных метаязыков политической науки. Структура знака до начала XX в. доминировала в науке и определяла от имени разума границы «научности» как таковой. Несмотря на антагонизм познавательных принципов знака и символа, они являются комплиментарными в политическом дискурсе, т.е. восполняющими конструктивные, методологические недостатки друг друга. Подробное рассмотрение свойств знака и символа связано с тем, что из них вытекают аксиомы и принципы познания основанных на них моделей теоретических метаязыков, определяющих структуру дискурса политической науки. На основе языка как трансцендентального объекта, прерывающего самореференцию политического знания, становится возможным структурирование ценностно-методологических моделей метаязыка политической науки: знаковой и символической.

Необходимо различать: а) символический метаязык (знаковый метаязык) как метод и метапарадигму политического исследования, набор его ценностных эпистемологических аксиом, с помощью которых постигается и переводится в теоретическую форму политическое как таковое; б) символ (знак) как непосредственную структуру или форму, в которой производится и транслируется политическое знание в виде теорий, схем, концепций и т.п.

Знак – единственно возможная, исключаящая «все иное» форма взаимосвязи означающего и означаемого как абсолютного тождества, легитимированная «классической эпистемой» (М. Фуко) науки. Только в рамках «знаковой» научной формы знания формулировались политические истины Нового времени и было возможно само «научное» знание о политике. Символ своей структурой размывает это единственно возможное отношение означающего и означаемого, обнаруживая их несовпадение, нетождественность, возможность «иной»

политической истины. Знак профанизирует сакральное, подчиняя его имманентному – опыту, рации, логике, здравому смыслу; символ сакрализует профанное, обнаруживает недискретность политической реальности, наличие в ней различных слоев, помимо верифицируемого с помощью принципа знака.

Иными словами, знак (символ) представляет собой структурирующий принцип научного метаязыка, микромодель «научности», с помощью которой производят и легитимируют истинные заключения. Выявляется такой структурирующий принцип путем анализа метаязыка исследования, т.е. взаимосвязи текст-контекст, где контекст парадигм, методов, ценностных установок обосновывает истинность и научность политического знания (текста).

Осмысление исторической совокупности политических теорий и подходов через структуру политических метаязыков связано, в свою очередь, с языком вообще как проформой и первоначалом любого доступного смысла, различения смыслов и их обменяемостью в ходе политической коммуникации. Абсолютно первичной матрицей, за которую мы в принципе не можем выйти в представлении, условием мышления является язык, дающий в методологическом плане разбивку на знак и символ. Поэтому матрица политики, т.е. правила игры, формы представления и методологические принципы в области политики, может быть структурирована как модель метаязыка. Язык сам по себе распадается на знаковую (формализованную) и символическую (герменевтическую) модели. Эти модели обладают исторической динамикой, их соотношение легко выявляется при редукции политической теории к языку. Более того, рассмотрение политики (власти) сквозь призму теории языка избавляет исследователя от детерминации исторической формой научности, связанной, например, со специфическими формами рациональности Просвещения и Модерна.

Язык опосредует политику для теоретического субъекта, поэтому политическое действие всегда можно свести к речи или тексту, представить как знак или символ. Споры, связанные с «концом идеологии», приводят к появлению «иной» модели метаязыка политических наук, организованной в соответствии с возможностями и логикой символа, что обусловлено движением от структурализма

к постструктурализму. С изменением научного метаязыка меняются и формы мышления, их контексты, а в итоге и представление о власти, причем вместе с самой властью.

Содержательная интерпретация знака и символа исключительно противоречива: от символа как незавершенной проформы знака, символа как отклонения от знаковой формы, символа как модуса знака – до символа как универсального означающего, характерного для любой культуры содержательного элемента, обусловливающего глубинное единство человечества. Зачастую знак и символ просто отождествляют и используют как синонимы.

Очень емко формулирует проблему французский лингвист Цветан Тодоров: «С одной стороны, на практике знаки постоянно трансформируются в символы, каждый знак обрастает бесконечным числом символов. С другой стороны, в декларациях теоретического характера постоянно утверждается, что все является знаком, что символов не существует или они не должны существовать»¹. Кардинальную важность имеет не просто различие, но противопоставление знака и символа как фундаментальных принципов разных научных методов познания. Количество теорий символа неисчерпаемо, поэтому далее мы приведем лишь важнейшие подходы к интерпретации сути и свойств символа в его отличие от знака, наиболее ценных с точки зрения задач, поставленных в данной работе.

Проблема противопоставления знака и символа генетически происходит от антагонизма логоса и мифа в греческой философии как двух форм языка, а следовательно, и двух форм восприятия речи: прескриптивного объяснения (позитивизм) и денотативного толкования-интерпретации (современная герменевтическая практика), например, в виде комментария или прорицания. Отсюда же две концептуальные формы познания: метафорическая риторика и аналитическая логика. Принцип логоса в современном понимании ассоциируется с языком науки Нового времени, с моделью рационализма, данной Декартом и Бэконом, которая поставила во главу

¹ *Тодоров Ц.* Теории символа. М.: Дом интеллектуальной книги. 1998. С. 261

угла человеческий рассудок, лишив его при этом каких-либо трансцендентных оснований в обмен на объективность в сфере имманентного. Соответственно, миф связан не с принципом знания, но с принципом веры, чем-то эмпирически не верифицируемым, иррациональным и интуитивным, что не может претендовать в рамках идеологии европейского рационализма на истину. Отсюда противоречие толкования, связанного с индивидуацией, субъективностью и непрозрачностью знания, которое не всегда может быть передано другому, и научного объяснения, которое принимало во внимание лишь то, что можно без потерь сообщить другому. Несмотря на то, что способность объяснить не всегда тождественна пониманию, именно объяснительные конструкты господствовали и объявлялись всеобщими.

Научное мышление, осознавая заявленное противоречие, т.е. принципиальную разбивку языка на логику знака и логику символа еще до начала «собственно научных» исследований, стремится его разрешить, сделав язык только инструментом познания. И здесь, по замечанию М. Фуко, можно наблюдать «борьбу двух тенденций, где методы интерпретации противостоят приемам формализации. Первые пытаются заставить говорить язык из его собственных глубин, приблизиться к тому, что говорится в нем, но без его участия (бессознательное языка у Фрейда, поэтическое мышление как установка философствования у Хайдеггера). Вторые пытаются контролировать всякий возможный язык, обуздывая его посредством закона, определяющего то, что вообще возможно сказать (Рассел, Витгенштейн)»¹.

В историческом аспекте «метарассказы» (в терминологии Ж.-Ф. Лиотара), которые определяли границы политического, его содержания и структуры, цели и ценности, иными словами, парадигмы имманентного политического мышления, – варьировались. В античности в качестве нормативного дискурса в политическом пространстве выступали философские системы. Образы должного и недолжного правления, политическая этика, фор-

¹ Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М.: А-сэд, 1994. С. 323.

мы политического участия, ценности и идеалы пребывали в зависимости от соотношения микрокосма и макрокосма в доминирующей философской системе.

С распространением христианского учения политическое выстраивалось по образцу божественного вероучения. Секуляризация и формирование национальных государств привели к зависимости метаязыка описания политического от рациональной науки. Последний этап, связанный с поворотом к языку, поставил политическое в зависимость от господствующего дискурса «доксического» опыта политики как опыта политического бытия, данного в языковой форме.

Все, что задает трансцендентный масштаб политического, представлено символом, «знаком бесконечного в конечном». Имманентные политические теории и схемы, наоборот, стремятся удержать политическое неизменным и независимым от порядка «иноного». Они реализуют политические технологии власти, которые стремятся закрепить актуальную конечность до бесконечности, превратить ее в «конечную бесконечность»¹, подчинив ее имманентному принципу знака.

Проникновение в политическую теорию символа связано с «кризисом» или постмодернистским «преодолением» идеологического состояния политики, основанного на привилегии структуры знака и легитимизируемого ей политологического метаязыка. Обзор качеств и свойств символа, данных ниже и противопоставляющих его знаку, в привязке к моделям политологических метаязыков, ориентирован на контекст данной работы, на взаимосвязь и детерминацию власти, знания и описывающего политику метаязыка, а не на теорию символа вообще. Нас интересовали, прежде всего, вклады традиций мышления: герменевтической, феноменологической, диалектической, структуралистской – работы авторов, концепции символа которых не только были конвертированы в политический дискурс, но и продолжают оказывать существенное влияние на его метаязыковые модели.

¹ «Конечная бесконечность» является одной из теорий природы Вселенной в современной физике.

По Гегелю, «знак отличен от символа: последний есть некое созерцание, собственная определенность которого по своей сущности и понятию является более или менее тем самым содержанием, которое он как символ выражает; напротив, когда речь идет о знаке как таковом, то собственное содержание созерцания и то, знаком чего оно является, не имеют между собой ничего общего»¹. Здесь символ прозрачен, он как бы пропускает исследователя через означающее к содержанию, в то время как значение знака скрыто, затемнено, т.е. природа означающего знака такова, что через него не видно означаемого. Природа знака коренным образом связана здесь с его конвенциональной компонентой как результатом соглашения, договора. Символ же противопоставляет условно-абстрактной природе знака что-то вроде непосредственного доступа к природе вещей, их самости, что связано не с условностью рационального соглашения, но скорее с духовным прозрением их сущности.

А.Ф. Лосев, также работавший в диалектической традиции, формулирует даже аксиому символа: «Всякий знак может иметь бесконечное количество значений, т.е. быть символом»². Здесь символ определяется отталкиваясь от противного, от понятия знака. Сам знак, по Лосеву, определяется как «акт человеческого мышления, отражающий собой ту или иную систему смысловых отношений в мыслимом им и независимо от него существующем предмете»³. Иными словами, поскольку мышление и бытие тождественны, то знаки языка адекватно отражают бытие в духе ленинской теории отражения. Однако, с другой стороны, Лосев пишет, что «значение знака есть знак, взятый в свете своего контекста», что обуславливает его смысловую мобильность и изменчивость. Но все нежелательные взаимосвязи и ассоциации отрезаются установлением единственно возможного, нормативно-общепринятого контекста. Обозначение всегда осмысленно, а все осмысленно обозна-

¹ Гегель Г.Ф.В. *Философия духа* // Энциклопедия философских наук: В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 294-295.

² Лосев А.Ф. *Знак. Символ. Миф* // Труды по языкознанию. М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 64.

³ Там же. С. 94.

ченное является результатом функций смыслового знака. Итак, смысл знака состоит в отражении означаемого. Символ же выступает как «идейная, образная или идейно-образная структура, содержащая в себе указание на те или иные, отличные от нее предметы, для которых она является обобщением и неразвернутым знаком»¹. Причем если знак следует логике референциального подобия, то логика символа указывает, прежде всего, на определенный способ порождения смысла и артикуляции мысли. Таким образом, символ вещи есть ее смысл, порождающий и конструирующий ее. Символ выступает как модель вещи. Символ не является абстрактным обобщением однородных вещей, он скорее, наоборот, указывает на их глубинное тождество. По Лосеву, «символ вещи есть ее закон, который смысловым образом ее воспроизводит, оставляя при этом нетронутой ее эмпирическую конкретность»².

П. Рикер, опираясь на герменевтический подход, пишет: «Я называю символом всякую структуру значения, где один смысл – прямой, первичный, буквальный, означает одновременно и другой смысл, косвенный, вторичный, иносказательный, который может быть понят только лишь через первый»³. В связи с этим определением, по Рикеру, символ нельзя понять однозначно и окончательно, т.е. раз и навсегда установить его смысл, но можно лишь интерпретировать. Интерпретация при такой постановке проблемы выступает как работа мышления, направленная на расшифровку смысла, скрытого за очевидным, раскрытие более глубоких уровней значения, стоящих за значением буквальным. На подобной установке основана герменевтическая практика интерпретации текстов, исходящая из их интенций, на основании не того, что в них говорится буквально, а того, что они хотели бы высказать.

Довольно схожей трактовки символа придерживается К.Г. Юнг. Он исходит из того, что в языке необходимо различать знаки и

¹ Лосев А.Ф. Символ // Философская энциклопедия. В 5 т. М., 1970. Т.5. С. 10.

² Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976. С. 65-66.

³ Рикер П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике. М.: Медиум, 1995. С. 18.

символы. Знаки не являются строго описательными. Сами по себе они не несут никакого смысла, но приобретают его в результате всеобщего употребления или предзаданным образом. Эти знаки лишь обозначают объекты, к которым относятся. Юнг называет символами «термин, имя или изображение, которые могут быть известны в повседневной жизни, но обладают специфическим добавочным значением к своему обычному смыслу. Это подразумевает нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас»¹. Таким образом, слово или изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их непосредственное, очевидное значение. Конечно же, Юнг имеет в виду прежде всего более широкий «бессознательный» аспект, который всякий раз точно не определен, и даже надеяться раскрыть его полностью нельзя. По Юнгу, когда мы исследуем символ, он ведет нас в области, не только лежащие за пределами здравого рассудка, но и детерминирующие его извне. Человек прибегает к символической терминологии, когда ему необходимо объяснить понятия и явления, которые лежат, как правило, за пределами его наглядного понимания, очевидности и здравого смысла. Любая религия, наука или искусство пользуются по этой причине символическим языком образов.

Символы всегда в той или иной степени бессознательны, а бессознательное целиком символично, поскольку оно имеет предшествующий логике и любым формам рациональности характер. Рациональность является преобладающей характеристикой индивидуального мышления, тонкой пленки сознания, коллективное бессознательное, наоборот, иррационально, символично, божественно. Кроме того, Юнг убедительно показал в работе, посвященной феномену НЛЮ², что наблюдатели, в том числе и ученые, отрицающие собственную подверженность приемам символического мышления и полагающие, что наблюдают за знаками других, как правило, наблюдают и исследуют в объективированной форме собственные символы.

¹ Юнг К.Г. Подход к бессознательному // Архетип и символ. М., 1991. С. 26.

² Юнг К.Г. Один современный миф. О вещах, наблюдаемых в небе. СПб., 1993.

Аналогичных взглядов придерживается и Ж. Лакан, считающий, что бессознательное являет собой символический дискурс Другого, структурированный как язык. Символ трактуется Лаканом как субститут отсутствующей вещи.

В политическую науку символическое на уровень теории проникает позже всего. Любое «неисключенное третье» требовало своего безусловного «перевода» на доминирующий метаязык знаковых моделей политики, отказ от которого до некоторых пор был равнозначен отказу от «научности» как таковой. Таким образом, политика анализировалась только на уровне здравого смысла, лишённого символической патологии, неспособность встроить которую в пространство представления, формируемое «классической эпистемой» науки, бросала вызов ее универсальности в области познания.

Символы сами по себе, т.е. политическая символика, конечно, присутствовала в политике всегда. Однако символическое подчеркнуто описывалось как нечто «иное», трансцендентное и даже «лишнее» в рационализированной ситуации политики, в которой протекает ее научное осмысление. Символическое относилось к «иррациональной среде» политики. Поэтому вхождение символических теорий и моделей метаязыка в политическую науку происходило первоначально из смежных сфер знания, не столь сильно детерминированных изучаемым объектом. Символическое входило в политическую науку «с черного хода»: через политическую психологию, психологию масс и лидеров, теорию языка, политическую философию, теории манипуляций, политическую герменевтику как анализ текстов и т.п. Однако после подтверждения эффективности и релевантности символических метаязыков применительно к политическому полю сам собой возник вопрос о возможной когерентности, взаимосвязи символического и политического.

Важную роль в формировании новой ситуации мышления в политике сыграл упадок «больших идеологий». Состояние «конца политического» означало именно конец политического как идеологического и тотального, конец доминирования метаязыковых моделей и концептов, которые могли, хотя бы в принципе, претендо-

вать на статус универсальных структур, объясняющих политическое. В данном случае символический метаязык не мог проникнуть в политическую науку, не ставя под вопрос знаково-энкратический метаязык политики, не тематизируя сам принцип анализа политического как идеологического.

Власть, будучи «рассекреченной» в политическом дискурсе знака, активно ищет способы легитимации в новом символическом дискурсе о политике, что ведет, во-первых, к трансформации нормативной природы власти как означающей системы в новой логике символа, во-вторых, к появлению новых идеологем легитимации и методов воздействия.

Отсюда проистекает и «конец политического», и «состояние Постмодерна», наступающее в политике после конца «большого идеологического стиля».

До XX в. символичность ассоциировалась с неполноценностью и отклонением от научного способа мысли. Проводилась прямая параллель между безупречным научным знанием, оперирующим систематическими знаками, и мифологией, которая следует логике символа. Поэтому роль символа сводилась, как правило, к роли предшественника аналитического знака, на основании которого только и может строиться истинно научное знание. Лишь с оформлением постструктурализма, психоанализа, герменевтики с их критикой универсальной нормы, идеологичности политического знания и, соответственно, заявлениями о множественности возможных норм, аксиоматичность знака стала проблематичной. Вновь стал нарастать интерес науки к символу, дающему более плотный и насыщенный жизненный мир. Политика, описываемая символическим метаязыком, вновь обнаруживает свое «утраченное» трансцендентное измерение.

Во многом сходные выводы делает Э. Фромм, который считает, что «язык символов может по праву претендовать на звание единственного универсального языка из всех когда-либо созданных человеком»¹. Фромм выделяет три вида символов: условные, которые по сути своей являются конвенциональными знаками; случай-

¹ Фромм Э. Забытый язык // Душа человека. М.: Республика, 1992. С. 180.

ные, основанные на связи означаемых и означающих в уникальном опыте отдельных людей либо их локальных групп, и универсальные¹. Главным отличием последних является «внутренняя связь между символом и тем, что он обозначает». Подобные символы Юнг называет архетипическими, укорененными всей человеческой историей, отшлифованными опытом поколений. Именно в природе универсальных символов отражаются фундаментальные закономерности мышления и воображения, которые в понятном для всего человечества виде отражают внутренние состояния человека, движения его души еще до того, как изначальный символический язык (таков, например, язык сновидений, то, что ранее именовалось «навь», подавленный разумом – логикой «яви») распался на свои условно-конвенциональные модели, которые представляют современные языки.

Итак, знак является одновременно ценностным принципом и структурой описания политики. Структура знака является более жесткой, базовой в отношении его возможных значений. Она лежит в основании классического метаязыка политической науки как тождества означаемого и означающего, бытия и мышления. Здесь политическое представление функционирует только в рамках наличия, непротиворечивости, полноты и тождества слов и вещей. Теория исчерпывает бытие в его самотождественности. Знак как принцип познания нацелен на выявление универсальных структур, общих понятий и схем, в которые вписывается все наличное. Знак всегда неявно заявляет приоритет умопостигаемого (идеи) над чувственным многообразием опыта, нормативного над эмпирическим, идеального над материальным, номотетического над идеографическим (М. Ильин) в форме жестких асимметричных оппозиций мышления.

Бинарная оппозиция знак-символ, аналогичная противопоставлению научного логоса и ненаучного мифа, должна была поддерживать авторитет «классической эпистемы» науки. Считалось, что цивилизованные «разумные» люди свободны от недостатков символического мышления, которое характерно для других – жи-

¹ Фромм Э. Забытый язык. С. 185-187.

вотных, детей, дикарей, сумасшедших, мыслящих символически. Различного рода культурологические, идеологические табу не допускали мысли о символизме собственного научного метаязыка, отождествляемого с непогрешимым универсальным логосом, опирающимся исключительно на «аналитические знаки».

То есть до недавнего времени считалось, что «описания диких символов, знаков других, по сути, превращаются просто в дикие описания наших собственных символов. Однако наше мышление на самом деле пользуется теми же приемами, что и мышление «первобытных» людей. В этом смысле мы не можем сравнивать себя с ними в терминах превосходства. Демистификация собственного мышления сложна тем, что непосредственно затрагивает собственные привычки мышления, их далеко не безупречную основу. В свое время она началась с разоблачения ряда центризмов: этноцентризма (К. Леви-Стросс), антропоцентризма (М. Фуко), логоцентризма (Ж. Деррида) и т. п.»¹.

Таким образом, прескрипционность властного знака как тождества знания-власти сменяется терпимым к «иному» символом, что влечет как изменение отношения познания к миру, так и изменение самого мира. Власть оказывается неспособной с помощью знакового метаязыка политического познания оформлять замкнутый идеологический дискурс политики. Политическое знание выходит за пределы «классической эпистемы» (М. Фуко) знака и поневоле открывает собственную символичность, которая подсознательно ощущалась как неудовлетворенность знаковым метаязыком и «общечеловеческими», «вневременными» политическими теориями и моделями. Структура научного представления оказывается неполной, а значит не универсальной и неистинной. Потребность власти в более эффективной легитимации выливается в поиск новых методологических принципов, соразмерных расширившимся границам знания. Таковую возможность политическим идеологам предоставляет структура символа, на новых принципах организуемая политическое пространство представления.

¹ Тодоров Ц. Теории символа. С. 262-263.

Символ же как принцип познания как раз и акцентирует внимание на оригинальном, единичном. Символ основан на метафоричности – объединении по сходству, и метонимичности – синтезе по смежности. Эвристичность символа определяется тем, что он дает возможность прорваться за пределы самотождественности, которой живет знаковый метаязык политики и в рамках которой он только и властен. Символ внимателен к неполноте и различию, он сосредоточен на становящемся в противовес ставшему. Символ связывает научное мышление с воображением. Если знак отменяет время, то символ обращает внимание именно на конечное, т.е. временное.

Только опираясь на символы, мы можем попасть в то пространство разрыва, перехода и становления, когда ставшее еще не было таковым, выявить тот скачок, который привел к установлению такого соотношения знания-власти, которое с помощью структуры знака стремится победить время, внушить веру в свою неизбежность и естественность. Символ внутренне противоречив и не равен сам себе в подвижности своего смысла, в то время как знак является принципом метафизики, с помощью которого структурируется любое метафизическое размышление. Поэтому знак метафизичен в буквальном смысле как **нечто**, что за пределами «политической физики» ее объединяет, схватывает в структуре всеобщего и целого. Речь идет, прежде всего, об универсальных идеях, их приоритете над означаемым, политическим праксисом, в силу чего метафизичность знака приравнивается к его идеологичности как господству бытия идей над тем, *как* и в *чем* они реализуются, господству вневременного над временным, универсального над единичным, бесконечного над конечным и т.д. То есть нормативные, конвенциональные, субъективные законы политики, являющиеся предметом конвенции, ложно отождествляются с объективными, независимыми от человека законами природы.

Символ неизменно связан с поливалентностью смысла. Отсюда интерпретативность и нетождественность самому себе в пространстве политического представления. Знак – это носитель любого однозначного фиксированного смысла. Символ – это знак, потенциально заключающий в себе множественность смысла. Смыс-

лы символов часто определяются контекстуально, коннотативно, ситуативно, а план выражения в структуре символа господствует над планом содержания. Можно сказать, что знак относится к символу так, как прямой смысл слова относится к его всевозможным переносным смыслам. Поэтому в определенном смысле символическое значение аналогично косвенному, выступающему в виде различных тропов, например метафоры или аллегории. Троп всегда связан с переносом, аналогией, аллегорией, смещением прямого значения: троп не говорит прямо (констатация), он намекает и подразумевает, оставляя простор интерпретации, фальсификации, различию. Например, А. Лосев прямо дифференцирует схему, символ и аллессию по степени соотношения в них означаемого и означающего¹. Если схема (план) являет собой полное поглощение инвариантным означающим практически любого оригинального и отклоняющегося от нее конкретного содержания, тем самым как бы выхолащивая его, а аллегория, наоборот, представляет полное доминирование «плана выражения» над «планом содержания», то символ есть мера гармонии означающего и означаемого, их взаимодополнение и обогащение.

Еще одно важное различие связано с тем, что символ по своему генезису мифичен. Здесь мы отталкиваемся от определения мифа А. Лосевым в «Диалектике мифа»², где он предстает как «чудесная личностная история», персонализированное бытие или же, в еще более простой трактовке, как «развернутое магическое имя», являющее собой способ ухода от обезличенного, абстрактного научного бытия, модели научной истины с императивами универсальности, объективности, незаинтересованности, системности и т.д.

Различие понятий «значение» и «смысл», используемых в данной работе, аналогично различению знака, выполняющего функцию означивания и указывающего на некое тождество, и символа, претендующего на выражение сокровенного смысла, а потому многозначного, зачастую смутного и не сводимого к поверхно-

¹ Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат. 1991. С. 44-48.

² Там же. С. 169-170.

стному, одномерному «значению». Здесь смысл представляет собой нечто самоценное. «С – мыслью» – смысл как сама мысль, платоновская идея, что рождается вместе с ней. Значение – всегда значит что-то для кого-то и, как правило, в чем-то, т.е. строго заданном контексте. В этом его относительность, определенная некой условной, заданной системой координат. Смысл – «по ту сторону» и «прежде» утверждения истинности/ложности. Только уже осмысленное предложение может быть истинным/ложным, но не наоборот. Осмысленным высказываниям противостоят только бессмысленные, которые не могут иметь значения. Иными словами, только на осмысленное предложение может накладываться то или иное значение, в зависимости от входящих в него переменных и характера взаимодействий с другими предложениями. Семиологическая сетка значений всегда накладывается на ту или иную смысловую интерпретативную модель, обнаружение которой зависит от применяемой методологии.

Любая структура значений, обозначающая система связана с конкретной политической практикой и системами ценностей. Она заинтересована в том, чтобы сохранять видимость своей объективности, а тем более универсальности, скрывая свою ангажированность, представляясь как нечто естественное, природное, т.е. самодостаточное. Итак, знак связан со значением и категорией устанавливающего значения рационального рассудка. Символ связан со смыслом и стоящим за ним разумом, который не поддается полному контролю и присвоению внешними инстанциями, поскольку самопротиворечив: «Главное отличие между рассудком и разумом – это запрет на противоречия в сфере рассудка и допущение противоречий в сфере разума»¹. И. Кант связывал научный рассудок с талантом, разум – с гениальностью.

Символ играет на маргинальных смыслах, воскрешает «проклятую сторону вещей», в то время как знак всегда связан с бинарным кодом истина/ложь, норма/патология. М. Фуко² показал, что установление нормы является способом легализации доминирую-

¹ Автономова Н. С. Рассудок. Разум. Рациональность. М., 1988. С. 355.

² Фуко М. Слова и вещи.

щего дискурса власти и распространения его с помощью как научно-познавательных, так и дисциплинарных практик на общество в целом. Например, в Европе современное понятие труда, формировавшееся нетерпимостью к нищим как изгоям, которые должны быть изолированы от праведного, трудящегося общества, и протестантизм, легитимировавший новую трудовую этику, «труд – как молитву», продемонстрировали совершенно новую матрицу смыслов. Эта матрица – классическая эпистема Просвещения, которая задала самой своей структурой познавательное, проблемное и методологическое единство всего корпуса общественных наук в рамках новой исторической эпистемы. С помощью подобных методологических ходов формулировались современные дефиниции разума, истины, власти, здоровья и т.д.

Интересны сами исторические обстоятельства, связанные с постепенным отождествлением истины и нормы, с последующим вытеснением и замещением первой на вторую, так как структура знака всегда выстраивается именно как нормативная. Таким образом, борьба за власть выступает, следуя структуре бинарного кода истины, в виде борьбы за обладание нормой, за право ее устанавливать, заключать в нее свои интересы. И эта борьба разворачивается во всех сферах общественной жизни – науке, политике, экономике, праве и т.д.

Интенсивность и публичность политического действия особенно возросли в ходе реализации идей Просвещения, вовлекая в него общество в целом. Исторически любое сложное взаимодействие, выводящее человека за пределы его жизненного опыта и обыденных целей, включающее его в надындивидуальный социальный мир, наиболее эффективно осуществлялось с помощью символических структур трансляции смыслов, несущих максимум смысла при минимуме выразительных средств, требующих работы понимания. Символ как «знак бесконечного в конечном» (А. Шлегель) объясняет политическую власть, которая, в свою очередь, пытается присвоить символ «навечно», продлить свою политическую конечность до бесконечности, отождествив актуальное имманентное политическое состояние со своей интерпретацией фиксированного содержания символа, который превращается, вследствие этой про-

цедуры, в тождественный актуальной политике знак. Поскольку реальные субъекты политической власти все-таки конечны, они подвержены движению истории, переинтерпретации другими субъектами. Дестабилизация сложившейся политической картины делает возможной борьбу альтернативных видений. Поиск различий становится более значимым, чем поиск универсальных тождеств, формализация уступает место интерпретации, позитивизм – герменевтике, идеология – утопии, власть – оппозиции. Идеологические знаки, потеряв абсолют своих значений и выйдя за пределы замкнутого политического контекста, становятся «ложным сознанием».

Исторически противостояние знакового и символического метаязыков политики в наиболее явной и принципиальной форме продолжается сквозь спор «акратического» и «энкратического» политологических метаязыков: герменевтики и позитивизма. Знаковый метаязык политической науки «энкратичен»¹, и противопоставит ему «акратический», т.е. вневластный, язык, обособленный от доксы (парадоксальный) и критичный к доминирующему дискурсу властного метаязыка. Доминирующий дискурс политической науки всегда «энкратичен», т.е. связан с самореференцией власти: апология власти довлеет в нем над кодом автономной научной истины. Он не проблематизирует ни субъекта познания, ни метод описания, стремясь теоретически закрепить сложившийся политический порядок.

Энкратический метаязык «...выглядит как “природный” и потому трудноуловим; это язык массовой культуры (большой прессы, радио, телевидения), а в некотором смысле также и язык быта, расхожих мнений (доксы); сила энкратического языка обусловлена его противоречивостью – он весь одновременно и *подспудный* (его нелегко распознать), и *торжествующий* (от него некуда деться); можно сказать, что он *липкий* и всепроникающий»². Иными словами, вдруг оказалось, что ясность структуры знака вы-

¹ «Энкратический» и «акратический» языки (или виды дискурса) – термины, введенные Роланом Бартом. См.: *Барт Р. Война языков // Избранные работы: Семиотика. Поэтика*. М.: Прогресс, 1989. С. 535-544.

² Там же. С. 537.

рабатывается искусственно, подозрение к подобному языку оказалось не напрасным: ясный язык, язык доксы – это всегда язык власти, где ясность является функцией его убедительности, а естественность – эффективным способом трансляции нормы-власти.

Энক্রатический метаязык нормативизирует политические решения и действия с точки зрения их эффективности. Подобный дискурс характерен для самолегитимации элиты, которой кроме идеи эффективности больше нечего предложить для сохранения и оправдания существующего в политике статус-кво, которое ее вполне устраивает и которое она стремится удержать. Ключевым концептом парадоксального метаязыка, принадлежащего «демосу», является решение вопроса о политической справедливости. Справедливость, которая является легитимирующим условием политического действия, направленного на освобождение, практику борьбы за установление нового формата справедливости классовых отношений, отношений элиты, народа и государства. Иными словами, политическая этика элиты ориентирована на идею эффективности, этика массы – на идею справедливости.

Фактически энкратический метаязык всегда представляет собой попытку власти в области представления умозрительно реконструировать Вавилонскую башню. Миф о Вавилонской башне, в интерпретации Ж. Дерриды, заключается в том, что ее постройка является поиском божественного языка, в котором сливаются язык и мир, власть и общество, элита и масса и т.д. в рамках всеобщей объективной истины, имеющей трансцендентный, божественный характер. Это своего рода рукотворный земной рай, где сняты все различия (идеологические, экономические, национальные). Соответственно, ее разрушение оборачивается расхождением мира и языка, классовыми антагонизмами, ростом непреодолимых границ и различий, распадом человечества, связанными с грехом гордыни, попыткой создать универсальный, т.е. божественный, язык.

Первоначально секулярный знаковый метаязык «классической эпистемы» Просвещения акратичен, когда борется за истину с доминирующим морально-религиозным метаязыком политики. Лишь когда идеология становится доминирующей политической формой объяснения, в которой формулируются политические тео-

рии, тавтологический язык становится метаязыком власти. Но тут же получает новую оппозицию в виде критического метаязыка внутри идеологического состояния политики. Онтологически господствующий дискурс в политологии априори является самореференцией власти, в то время как модель парадоксально-акратического метаязыка политической науки принадлежит структурной оппозиции.

Рассмотрим подробней модели метаязыков политической науки, вытекающие из антагонизма знака и символа.

Формализующий подход: познавательная структура знаковой модели метаязыка

Эта модель метаязыка генетически связана с объективным Римским правом и европейской научной традицией, устанавливающей истину посредством «логической дедукции понятий». При этом не требовалось «...обращаться к представлениям и суждениям сторон о любых существующих ценностях, поскольку речь шла только о чистой юриспруденции понятий, которая не принимала во внимание интересы сторон»¹. Позднее это требование было перенесено в новоевропейскую науку, где Бог (трансцендентное начало) был подчинен и отождествлен с истиной, производимой рассудком как типом рациональности, основанным на логической и эмпирической верификации. Здесь коду истины, детерминированному разумом, подчиняется все внеположное разуму: чувственность, интуиция, вера, мораль, нравственность, эмоции и т.д.

Такое определение истины специфично именно для Запада: «Абендланд [Запад] – это та территория, где понятие истины, которое в остальном мире применяется только в области математики, логики и естественных наук, принимается и в области отношений между людьми, где, следовательно, есть четкое разделение понятий “право” и “нравственность” (справедливость)». Право [истину]

¹ *Халем Ф.* Историко-правовые аспекты проблемы Восток-Запад // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 28.

можно доказать, как доказывается математическое правило, например ссылкой на закон или решение верховного суда, а справедливость (нравственность) чувствуется, ее доказать невозможно»¹.

В дальнейшем формализованный метаязык обязан своим совершенствованием Просвещению. Он достиг апогея в ходе прорыва в естественнонаучном познании, в науках о природе XVIII–XIX вв. Единая религиозная картина христианства обеспечивала из области трансцендентного ценностное и методологическое единообразие данного метаязыка или, по меньшей мере, его непротиворечивость собственным онтологическим основаниям, через способ постановки вопросов, общую проблематику и методологию исследований. В связи с рядом исторических процессов: «национализацией» культурных миров, «капитализацией» общества, секуляризацией, в ходе которой на смену символической, трансцендирующей мистике приходит рациональная наука и т.д., – это методологическое единство познавательной структуры было утрачено.

1. Секуляризация обусловила девальвацию символического капитала церкви, не говоря уже о ее монополии в области трансцендентного, и одновременную концентрацию этого капитала, являющегося ключевым ресурсом власти в руках государственных институтов, в том числе и институтов по производству знания.

2. Формирование национальных государств, давшее толчок развитию национальной культуры, самосознания, ценностей из недр общехристианского происхождения, привело к разрыву и трансформации стилей мышления о проблемах, связанных со светскими, государственными интересами. Просвещение в превращенной рационализированной форме присвоило и переработало в ходе общественных трансформаций почти всю религиозную проблематику.

3. Изменение самой церковной организации и принципов веры. Рациональный дух капитализма, основанного на прибыли и эффективности, привел к переносу оснований веры из области трансцендентного, с которой имела дело католическая мистика, в область имманентного. Подтверждение благосклонности бога через

¹ Там же. С. 30.

внешние вещи придало спасению характер прижизненной гарантии, возможной только когда мы имеем дело с гарантированными и неизменными знаками свыше в противовес нуждающимся в интерпретации и двусмысленным по своей природе символам¹.

Далее вплоть до XX в., осмысляемого в социально-политических науках через метафору перманентного кризиса, единство научной методологии как таковой могло быть достигнуто только в области имманентного. А именно путем переноса методологии наук о природе в область наук о человеке, посредством таких исследовательских практик и методов как механицизм, органицизм, бихевиоризм, теория рационального выбора, структурно-функциональный подход и обобщающая их позитивистская модель метаязыка, основанная на идее неизменной, мертвой природы, описываемой с помощью столь же ясных знаков, аксиом и дедуктивных методов, которые позволяют сохранять систему точного знания.

Позитивистский (сциентистский) метод выступает в виде формализаций, предназначенных для установления тождественного, а следовательно, истинного отношения значения и референта. При этом обычно используется дуальная связка: означаемое-означающее, система-мир, теория-практика, сознание-бытие и т.д. Первый элемент претендует на тождество со вторым, причем доказательство тождества рассматривается как не подлежащая оспариванию единственно возможная истина. Критерий истины может связываться с природой (натурализм), самим человеком, культурой, религией, трансцендентным в противовес имманентному. В любом случае он является чем-то «иным» по отношению к «системе», которую он призван легитимировать и благословить на производство истины.

Семиотическая структура знака состоит из двух частей: референта и значения. Это не единственно возможная интерпретация. Например, Г. Фреге предлагает трехсоставный знак (треугольник): референт-имя-значение. Имя стоит в треугольнике по ту сторону и значения, и реальности. Референт имени не всегда существует в

¹ См. подр.: *Хайлер Ф.* Религиозно-историческое значение Лютера // СОЦИО-ЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. С. 315-346.

реальности (кентавр, орк, эльф). Имена – это общие значения, универсалии, интегрирующие области частных значений и феноменов. Причем частные различия игнорируются именами в пользу тождеств, которые они собой представляют. Фактически имя представляет собой вторжение принципа мифа, символа.

В области теории языка позитивистский метаязык представлен семиологией – наукой о принципах производства значений. Предельные основания семиологического подхода представлены традиционной метафизикой, которая в целом выстраивается на бинарной оппозиции чувственного (эмпирического) и сверхчувственного (умопостигаемого), где второй элемент обычно довлеет над первым. Причем семиология, будучи метафизически структурированной, любым способом уклоняется от метафизических содержаний, дабы не выйти за пределы классической «научности». Внутренняя логика семиологии отрицает свою метафизичность, полагая себя только в границах реального, природного, чувственного и рефлексивного над ней с помощью формальной логики рассудка. Трансцендентное политическое измерение, мешающее полному и окончательному доказательству истины, игнорируется. Семиология структурно представляет собой метапарадигму науки Нового времени, которая в обмен на отказ от метафизичности хотела бы получить контроль над имманентным, как условие присвоения истины-нормы-власти.

Опишем далее ключевые признаки познавательных структур позитивизма:

а) формализация, связанная с попыткой создания универсальной, всеобщей и внеисторичной модели научного метаязыка;

б) элиминация двойственности языка, который может быть и объектом (источником), и орудием познания. Язык функционализируется и сводится к орудию;

в) задается алфавит знаков формализованного политологического метаязыка, аксиомы и правила вывода. Получение истины становится прикладным технологическим процессом. Следуя определенным техническим правилам, ее получение **неизбежно**;

г) жесткий и последовательно проводимый принцип системности. Постоянное воспроизведение и поддержание последнего ве-

дет к проблемам с адаптацией метаязыка к изменению внешних условий по отношению к универсальным теоретическим системам, что обуславливает их неизбежную фальсификацию.

В знаковой структуре познания, лежащей в основании подобных систем, означающее и означаемое находятся в неравной одно-сторонней связи: реальность является вторичной по отношению к идее реальности. Иными словами, референт (реальность) изначально неспособен привнести ничего нового в систему, а тем более изменить ее – налицо отношение отражения. Такой односторонний способ коммуникации характерен именно для возникновения и укрепления асимметричного властного отношения, не приемлющего обратного влияния. Интенция власти направлена именно на утверждение всеобщего, на доказательство своей способности руководствоваться абсолютной истиной. Но последняя может быть основана в политике лишь на сведении трансцендентного к имманентному, их тождестве. Более того: «... всякая универсальная пропозиция утверждает несуществование вещей некоторого класса»¹. Однако это вовсе не означает, что эти вещи перестают существовать «на самом деле». Просто их перестают замечать, игнорируют, если они нарушают принцип тождества политического знания-власти.

В политической области вторжение власти в автономный код знания происходит через морализацию политики, путем постановки ее цели как достижения всеобщего блага. Последнее может опираться лишь на истину, принимающую характер абсолютного значения для всех. Поэтому достижение конечной истины здесь заранее объявляется невозможным, поскольку любой индивид или группа изначально ангажированы своими субъективными интересами. И здесь происходит логичная замена недостижимой объективной истины для всех технологическим критерием – консенсусом, акцентирующим внимание на эффективности взаимодействия. То есть обычно метаязык власти в политической науке производит политическую теорию, заменяющую содержательность общественного соглашения формализованными процедурами.

¹ Антисери Д. Эпистемология и герменевтика // Вестник Моск. ун-та. Сер. № 7. Философия. 2001. № 3. С. 5.

Математический просчет как вероятностный анализ издержек и выгод различных вариантов решений ставит их в зависимость от самого баланса исчислимых прибылей и потерь как *ultima ratio* любого политического спора, т.е. от задействуемых средств, но вовсе не от поставленных целей.

При этом отправной точкой служит естественный опыт политики обычных людей, в свою очередь ставший предметом речи политологического метаязыка. Доксический опыт человека предстает как нулевая степень, то, что обобщается и интерпретируется с внеположных ему позиций.

Исследователь отстраняется в своей вторичной рационализации от набора фактов, осмысляя их только как объект, как текст, который можно прочесть лишь владея классифицирующим метаязыком политической науки. Базируясь на основании доксического опыта политики, метаязык способен его обобщать в целостную картину, недостижимую в рамках самого политического опыта. Знаковый метаязык помещает содержание опыта в контекст теоретических схем, которые абстрагируются от особенного (личностного) в доксическом опыте политики в пользу рациональности «внешнего» к нему метаязыка.

В соответствии с перечисленными принципами и аксиомами познания знаковая модель метаязыка политической науки связана с методами классификации, формализации, дедукции и редукции, организующими закрытый дискурс политических значений. Принципы верификации политической истины прямо заимствуются из классики фундаментальных естественных наук. Стратегия познания связана с принципом знака, аналитическими формами производства политической истины.

Здесь политология, особенно явно это демонстрирует англосаксонская модель¹, рассматривается как позитивистская наука, имеющая дело не с ценностями и тем более не с конфликтами ценностей, так как мораль изначально выносится за скобки в угоду объективности, но с описанием объективированных естественно-политических про-

¹ См. подр.: *Казанцев А.А.* Политическая наука: проблема методологической рефлексии: (Обзор круглого стола) // ПОЛИС. 2001. № 6. С. 53-54.

цессов, не связанных с сознанием их участников и наблюдателей. Более того, приветствуется инструментальная отстраненность исследователя от изучаемого объекта как залог его объективности. Такая установка на привилегию инструментальной рациональности ведет к господству в политологии бессубъектного метаязыка, связанного с такими теориями как бихевиоризм, теория рационального выбора, теория игр и т.п., обращенными к рационализированному индивиду (номинализм) как основополагающему атому политической системы. Методы познания истины ориентируются здесь на объяснение, исключающее возможность любой «иной» истины.

Теоретико-эвристическая нетерпимость подобных доказательств истины связана с самоочевидными аксиомами логических выводов и связей, верифицирующих истину, опираясь на непрерываемые объективные факты и рациональные конструкции. В прикладной политической науке эта модель метаязыка ориентируется на количественные методы: легко формализуемые, эмпирически верифицируемые и максимально свободные от субъективных элементов сознания, необходимости интерпретировать языковые значения, опытные данные и т.д.

В методологическом плане политическая наука сегодня ощущает конец доминирования особого типа рациональности и способа ее легитимации, появившегося в ходе Просвещения и пережившего свой расцвет в виде формализованного метаязыка, опиравшегося на структуру знака как одновременно форму и принцип своего функционирования. Структура последнего, определявшая до недавнего времени структуру «научного» познания политики вообще, в выборе исследовательских методов сама по себе не ставилась в политических науках под вопрос, тем не менее оказывая латентное влияние на получаемые политические истины.

Интерпретирующий подход: познавательная структура символического метаязыка

Генезис символического метаязыка связан с практикой экзегезы – толкования и интерпретации религиозных текстов. Практика, вырастающая из комментария, уточнения и разъяснений Свя-

щенного писания, распространяется в дальнейшем на любые тексты. Внимание сосредотачивается не на буквальности текста, но на попытках выявить его интенцию, осмыслить не то, о чем говорится в тексте, но то, о чем хотел бы сказать его автор. Такой подход признает множественность смысла. Однако с другой стороны, существует установка на возможность окончательного, правильного, истинного толкования. История человеческой мысли предстает в виде производства и последующего развенчания систем знания, претендующих на постановку точки в поиске истины. Если рассматривать политическую науку как форму нарративного знания, которая получает свою специфику и авторитет путем легитимации через «метарассказы», то сейчас мы можем наблюдать как раз кризис легитимации метарассказа, оформленного с помощью средств знаковой модели метаязыка. В ходе этого кризиса наука возвращается к своим основам, а именно к форме рассказа, истина которого задается им самим и ничем извне¹.

Основная проблема состоит в том, что позитивизм задает политике субъект-объектную, естественнонаучную модель познания. Однако сознание субъектов, с которым всегда сталкиваются социально-политические науки в описании социально-политической реальности, не может быть из нее устранено. Более того, сознание всегда избыточно в отношении описываемой реальности. Поэтому в дискурсе политической науки речь должна идти о субъект-субъектном отношении познания, столкновении моделей, интерпретаций реальности, конфликте политических теорий как систем убеждений. Природа политического знания описывается, таким образом, как гипотетическая, идеологическая, риторическая, но никак не аналитико-дедуктивная, сводимая к объективной политической реальности как *ultima ratio* любого спора. Становится востребованной и релевантной позиция, согласно которой «... подлинно научная методология, обосновывая свои претензии на объективное знание, должна рефлексировать о своих метанаучных основаниях, условиях истины,

¹ См. подр.: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии, 1998.

которые не содержатся в логике научного исследования и не могут быть обоснованы по правилам той же теории, в рамках которой оно проводится»¹.

В целом, политическая герменевтика описывает общество как закрытую систему, культурный код которой заключен в ней самой. Ресурсы этой системы ограничены. Они циклически воспроизводятся в форме «культурного экологизма» из нее самой, не обмениваются и не приобретаются. Формализованный подход, наоборот, рассматривает общество в политическом коде либерализма как бесконечное в линейном времени и безграничное в культурно-нейтральном пространстве. Эта бесконечность позволяет игнорировать актуальные различия и противоречия в пользу достижения будущего тождества, всеобщего блага. Реальное и должное сливаются при приоритете последнего. То есть истина уже познана, уже открыта, абсолютные ценности известны. Поэтому политическая теория ограничивается «средним уровнем», основанным на применении этих ценностей. Наиболее полно эта установка познания отражена в знаковом метаязыке.

Свое абсолютное воплощение герменевтическая практика получает в форме интеллектуальной игры, трактуемой Ж. Деррида как «поле замещений и дополнений, образуемое путем подстановки бесконечного числа означающих в конечном числе означаемых»².

Аксиома о возможности всеобщей объективной реальности, даже конвенциональной, в этой модели политического метаязыка отрицается изначально. Работа ведется не с самой объективированной реальностью, а с ее толкованиями. Формализованные теории выступают как означаемые, которые анализируются в иных означающих, помещаются в иной контекст. Такова, например, схема

¹ *Соболева М.Е.* Возможна ли метафизика в эпоху постмодерна? К концепции трансцендентального прагматизма Карла Отто Апеля // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 147.

² *Деррида Ж.* Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук // Письмо и различие. СПб., 2001.

Р. Барта, где первоначальные означающие используются в качестве означаемых вторичной семиологической системы¹.

Символический метаязык указывает на дискурсивность любой познавательной практики, высокую вероятность неадекватности методов и аксиом сферы одной познавательной практики в применении к предмету другой. Политическая герменевтика всегда имеет дело с трансцендентным. Ее интенция состоит в том, что на вещах запечатлены приметы и символы их глубинного трансцендентного смысла, что за видимым текстом существует изначальный Текст, и первый всегда отсылает ко второму через подобие, означение, откровение и т.д. Деконструкция и герменевтический метод нацелены на прорыв к таким основаниям мышления и представления, которые, обуславливая те или иные мыслительные практики, а в более широком контексте типы культур вообще, ускользают от внимания тех исследователей, чье сознание ими обусловлено. Нахождение подобных оснований не только расширяет наше осознание себя и мира через предельный контекст, но выступает и как способ противодействия логике замкнутых формализованных систем, неопровержимых и непротиворечивых изнутри, когда мы принимаем эту логику как естественную и единственную.

Актуализация герменевтически-символической модели метаязыка политической науки связана с очевидной невозможностью свести символ к аналитическому знаку, позволяющему создать взаимно однозначное соответствие (тождество) формализации и формализуемого. Подобная методология работала лишь в условиях единой картины мира. Постструктурализм ведет речь о неполноте метода, претендовавшего на адекватность отражения, которая была залогом его притязаний на присвоение истины-власти. Проблема в том, что не формализуем сам язык, поскольку его природа символична, а знаковость – идеологична. Поскольку сведение символа к знаку аналогично сведению трансцендентного к имманентному, мы имеем дело с определенной идеологией познания политики, направленной на присвоение истины, так как множественность смысла, присущая символу, устанавливает множественность истин.

¹ Барт Р. Из книги «Мифологии» // Избранные работы. С. 74-81.

Власть же может укорениться лишь в единственном значении, путем отмены циркуляции всех иных смыслов, подрывающих ее собственный дискурс извне.

Символическая модель метаязыка политической науки находится в структурной оппозиции и составляет нечто вроде «проклятой стороны вещей». Она восполняет конструктивно-методологические недостатки знакового энкратического метаязыка, будучи связана с принципами герменевтики и интерпретации. Эта модель ориентирована не на доказательство-объяснение, но на дискурсивное толкование-интерпретацию истины. Прояснению истины здесь мешает слабая способность интерпретирующих методов к систематизации и системному конструированию. Поэтому данная модель политологического метаязыка является не самостоятельным, но необходимо дополняющим критическим метаязыком относительно знаково-энкратической модели политической науки.

Здесь в основании истины находится само политическое бытие или язык, первоначало, которое не тождественно само себе. И самопротиворечивость бытия (языка) вполне естественна, редукция же к непротиворечивости и однозначности, наоборот, искусственна и подозрительна. То есть в политической науке приобретает релевантность «принцип неопределенности» В. Гейзенберга, когда наблюдатель самим процессом наблюдения изменяет объект. Поэтому сказать, каким был объект до наблюдения, – невозможно. Иными словами, истина всегда ангажирована: положением в социальном пространстве, из которого она наблюдается, средствами наблюдения, ценностными ракурсами наблюдателей и т.д. Стратегия познания связана здесь с принципом и средствами символа, а форма познания истины – с риторикой. Код истины черпается в трансцендентном пространстве: религиозном, нравственном, моральном, метафизическом. Таким образом, открывается пространство субъективных политических истин, каждая из которых может претендовать на признание и «научность».

Герменевтический метаязык открывает в политике ситуацию мышления, описываемую «принципом дополнительности» физика Н. Бора, где социально-политическая реальность приобретает многомерность и большую степень достоверности путем описания раз-

личными теоретическими метаязыками и последующей борьбой этих описаний за политическую истину. Популярный в квантовой физике принцип, по сути, формулирует ту же проблему, что и символический метаязык. То есть утрату универсального общепринятого метаязыка описания, покинувшего и в физике, и в политике пределы здравого смысла. И как следствие, открытие зависимости результатов исследования от способа их описания. В связи с этим предлагается описывать все факты, гипотезы, модели и процессы как минимум двумя способами, интерпретировать их на двух научных метаязыках, что приближает исследователя к более истинной и полной «стереоскопичной» картине, несмотря на то, что одновременно она становится и более противоречивой.

Неприятный методологический тупик, на который указывает герменевтическая модель политологии, заключается в том, что полная объективация и прозрачность механизма власти, структурирующей политику, на самом деле ее разрушает и девальвирует. Познание политических объектов как природных, внекультурных или, наоборот, универсально-культурных – «общечеловеческих», внеценностных, данных «в очевидности», ведет к изъятиям редукционизма, где в угоду непротиворечивости и объективизму внешние свойства вещей выдаются за их сущность. В качестве подобных утверждений можно привести концепцию сознания как «черного ящика» (Скиннер), кибернетический подход к политической системе (Р. Даль), «конец истории» как теорию единого культурного пути человечества (Ф. Фукуяма), перенос в политику «рыночных» моделей поведения (неолиберализм) и т.п.

Распространение герменевтического метаязыка политической науки связано с кризисом единой естественнонаучной картины мира, экспериментально-рассудочных методов, формировавших модель «образцовой» научности и в гуманитарных сферах. «Развеществление» материи в физике, открытие собственного «бытия» языка в философии, иррационального «жизненного мира» человека в психологии – поставили эту картину под вопрос.

Здесь множественность сущностей, она же отсутствие конечной сущности вообще, задает напряженность научной полемики через «эпистемологический анархизм» (П. Фейерабенд), где цен-

ность имеют само вопрошание, сама гипотетичность научного познания, всегда готового встретить критику и новые истины. Последние в процессе научной агонистики только и приобретают свою истинную ценность. В такой ситуации невозможно занять универсальную объективную научную позицию в принципе, тем более основанную на обладании конечной истиной. В противном случае это означало бы конец науки. Максимум, на который мы можем претендовать в политических науках, – это «объективация объективирующего субъекта» (П. Бурдьё) или же, в терминологии Н. Лумана, «наблюдение за наблюдателем». Тот, кто рискует наблюдать, должен быть готов к тому, чтобы быть наблюдаемым. Таким образом, политическому знанию заведомо придается статус субъективного, дискурсивного и ангажированного. Проблема состоит в том, замечает/не замечает, причем сознательно/несознательно, эту дилемму теоретический субъект.

Любая научная теория построена на измерении и наблюдении, редукционизме мира к формализуемым и измеряемым процедурам. Проблема состоит в критериях и чувствительности исследователя к сокращению области «черного ящика», области неопределенности. Сильная редукция может как открыть универсальные типологические закономерности, так и ненароком проигнорировать область неопределенности, которая может оказаться более значимой и близкой к истине, чем удобно формализуемые частные случаи, отождествляемые с реальностью как таковой. Выбор в этой дилемме того или иного члена оппозиции, его привилегированная значимость обуславливают одну из моделей метаязыка. Знаковый метаязык ориентирован на метод формализации, логические и рациональные схемы редукционизма. Он производит акцент познания на общем, сходном, универсальном и тождественном. Символический метаязык ориентирован на методы интерпретации, акцент познания производится на особенном, ином, уникальном, Другом. В нем содержание и субъективная ценность различий существенней сходств. Нередко даже тогда, когда последние строятся не только на аналогии, но и строго доказуемы.

Эти два чистых типа познания можно определить как энкратический метаязык (принцип знака) и акратический метаязык (принцип

символа). Мегатенденцией «в целом» в современной политической теории является методологический дрейф от поиска тождеств к поиску различий, переходящему в своей радикальной фазе в идиосинкразию и апологию несовместимости культурных, идеологических кодов, в критику самой возможности единого, универсального мегакритерия значимости сходств и различий. Отсюда постмодернистская, теоретически обосновываемая невозможность самого обсуждения значимостей (ценностей), их встраивания и ранжирования в едином эпистемологическом поле, так как нет общего для всех поля, общих универсалий, значений, ценностей (постструктурализм). Здесь исследователь не столько артикулирует свою субъективную диспозицию в общем эпистемологическом поле, сколько стремится через любой «черный ход» к открытию своего автономного научного поля и соответствующей ему истины.

Современная методологическая парадигма политических наук все более мыслится из интерсубъективного первоначала языка, опосредующего познавательное отношение субъекта и объекта. Язык выступает в качестве проформы научного познания, которая его в значительной степени предопределяет. Аксиома состоит в том, что описание тождественно полаганию как субъекта, так и объекта. Гносеологический метаязык одновременно и перформативен – «нечто полагает», и денотативен, нарративен – «нечто описывает». Конечное легитимирующее основание политики, власти, общества заложено в той или иной модели метаязыка его описания. Поэтому герменевтический подход позволяет в какой-то степени обойти проблему онтологического «отсутствия основания у перво-двигателя».

То есть дуальность языка (знак, символ) определяет дуальность парадигмы (формализация, интерпретация). Выбор внутри парадигмы зависит от того, как преодолевается эта дуальность в ходе исследования, т.е. наделяет теория язык статусом материала (реальности) или нейтрального инструмента исследования (означающего). Структура знака или символа, лежащая в основании знаковой или символической модели метаязыка политической науки, априорно определяет методологию и ценности политологических теорий, реализуемых в рамках одной из этих моделей. Метаязык

политической науки выявляется через саморефлексию познающего субъекта, путем прерывания идеологической самореференции политической науки. Это прерывание осуществляется как обращение к такому аксиоматичному объекту политической науки, как ее собственный метаязык. Подобное прерывание актуализируется сегодня общим «лингвистическим поворотом» гуманитарного знания.

Язык впервые стал мыслиться не как часть мира, предмет среди других предметов, а как означающее, принципиально связанное с властью, в момент перехода, описанного М. Фуко в «Словах и вещах», от всеобщей грамматики, призванной дать «истину мира», к филологии и литературе, обращенным к самому языку¹. Именно здесь язык осознается уже не как естественное средство описания мира, никак не искажающее интенции разума, выраженные через него, но как орудие преобразования этого мира, связанное с принципом означивания. Общим условием возникновения подобной ситуации мышления служит изъятие человека из мира и противопоставление ему в качестве субъекта. Это универсальное противопоставление, породившее дискурс науки, сделало дуальность: душа/тело, имманентное/трансцендентное, сознание/бытие и т.д. – единственно возможной формой, в которой происходит научное познание. Язык стал важен именно как посредник-определитель сущности этого дуального отношения, связующего субъекта и объекта, как структура, посредством которой субъект реализует свою власть над объектом в пространстве представления. Язык становится проблематичным, когда он изымается из мира объектов и превращается в язык научного субъекта, присваивается им, чтобы контролировать характер своего отношения к бытию: формализация или герменевтика. Собственно, давний принцип «разделяй и властвуй» и был реализован Просвещением через язык. Но сначала язык должен был потерять онтологичность и приобрести «идеалтипичность» и аналитичность. Вместо символического и многослойного стать однозначным, перейти из сферы сакрального в сферу имманентного, где не само Слово, но тот, кто владеет словом, определяет реальность, а язык превращается в самоописательное, самодостаточное «письмо».

¹ Фуко М. Слова и вещи. С. 319-324.

Когда в «классической эпистеме» принцип классификации вытесняет логику подобия и сходств, язык теряет свою смысловую плотность. Он исчезает как объект, но появляется как невидимое орудие, с помощью которого разум определяет истину мира, упорядочивая и классифицируя последний с помощью знаковой модели метаязыка науки. Кризис Просвещения и Модерна привел к возрождению языка. Возрождению, связанному с тем, что язык перестает быть инструментальным средством классификации, но приобретает прежнюю плотность, насыщенность и субстанциональность. Язык заслоняет собой мир, вновь начинает детерминировать его научное восприятие в условиях кризиса рациональности как привилегированного принципа познания. Автономизация языка от рациональности привела к тому, что язык стал ключом к познанию мира, как способ не только его описания, но и творения. Соответственно, мир стал стремительно приобретать свойства текста, прочитать который помогает только знание сущности языка. Это связано с доминированием представления, что все мы находимся внутри языка как мира идей, языка как копирующего, так и полагающего свойства действительности. Опосредование бытия языком («язык – дом бытия»), опосредование языком любого коммуникативного акта, информации, мысли, сознания означает, что свойства языка вновь отождествляются со свойствами мира, который он призван выразить.

Вновь осознается взаимосвязь вроде бы прирученного разумом языка с чем-то потусторонним, отсылающим к «иному» как своему истоку. То есть язык вновь не принадлежит этому миру. Он становится тем, что этот мир творит. И теория виртуализации общества здесь вполне сходится с теорией магического творения. Если знаковая структура метаязыка оперирует представлениями, в которых слова отождествляются с вещами и имеют смысл лишь постольку, поскольку что-то отражают, то язык, опирающийся на символы, фактически открывает обратный процесс, а именно – независимость слов от вещей, означающих от означаемых. Взаимность означающего и означаемого становится проблематичной, их тождество уступает место различию, усматриваемому в их соотношении в знаке власть структуры, стоящей по ту сторону знака и

легитимирующей его в качестве такового. Коренной поворот в социально-политических науках связан с переходом в методологическом плане от структурализма к постструктурализму. Иными словами, от познавательной логики, заданной знаком, к логике символа.

Таким образом, язык вновь полагается на стыке имманентного и трансцендентного. Субъект присваивает язык, но оказывается, и язык проговаривает **что-то еще** через субъекта, дополнительно к тому, что высказывается. И эта двойственность, шаткость высказываний видима если еще не самим субъектом, то уже его рефлексивным адресатом. Последний, вследствие этого, приобретает способность вступить в семантическую войну, оспорить политическую картину знания-власти как **одну из** интерпретаций, а следовательно, и выводы, политическую практику, вытекающую из данной интерпретации политики.

Дилемма знания-власти связана с тем, как разделить субъекта высказывания и язык в том, что высказано, как вновь убрать тело языка, заслонившее мир? В противном случае, не рефлексивная над истоком языка, мы подвергаемся опасности стать заложниками энкратического метаязыка, детерминирующего все возможные формы высказываний, определяющего то, что может быть высказано вообще. Эта дилемма историко-гносеологического характера, связанная с отношением исследователя к собственному языку, решима двумя способами, которые представляют собой антагонистические методологии научного исследования. Внутри политической науки они представляют собой антагонизм двух «идеальных типов» познания политики, первый из которых связан со структурой знака, методами формализации и позитивизмом, второй – со структурой символа, методами интерпретации и герменевтикой.

1. Тактика формализации (знаково-энкратический метаязык) основана на том, что в основание языка кладется атом-знак, который позволяет отождествить значения метаязыка описания и мир на основании универсальной модели языка, связанной со временем Просвещения с метаязыком науки. Любое другое знание, полученное через «патологические» модели метаязыка в отношении научно-нормативной, классифицируется как неистинное, ненаучное, приблизительное и неточное. Акцент познания производится

на выяснении неких чистых форм языка, т.е. очищенных от субъекта, сознания, привносимых исследователем содержаний и смыслов. Эти чистые формы языка должны быть универсальными и прозрачными, пропускающими универсальное сознание познающего субъекта к объективному миру политики. Здесь язык убирается как посредник, детерминирующий отношение субъекта и объекта, и остается только как самоочевидная структура описания с легко формализуемыми законами своего применения.

Упор в познании производится на истинности самих способов поиска истины, когда истина заключается не в объекте, но в универсальности средств и структур познания: правилах вывода, основания, заключения, классификации, аксиоматизации и т.п.

При этом происходит отождествление «всеобщих» свойств политического мышления со свойствами окружающего мира, данными в опыте, наблюдении, здравом смысле, «естественных» для некоего коллективного историко-социального субъекта познания. Самоочевидность мира возникает через эмпиризм, теоретизм, детерминизм, логический редукционизм. В качестве методологических примеров можно назвать метаязыки различных сфер знания: аналитической философии, логики, структурализма, позитивизма, семиотики. Позитивистская модель политологии всегда отдает приоритет логике сходств перед логикой отличий. При этом уровень научной редукции в поисках сходств и тождеств таков, что зачастую создается универсальная модель для описания «частного случая», когда сущностные различия игнорируются как несущественные, второстепенные, в сравнении с нормой.

Принцип знака: механистический детерминизм классической физики Ньютона, формальная логика Аристотеля, структура классической эпистемы Просвещения, дуализм субъекта и объекта, магиейство, всеобщность идеологии, овеществление, отождествление всеобщих свойств мышления со свойствами окружающего мира, данными в опыте, наблюдении, здравом смысле, дискурсе нормы/ненормы.

2. Герменевтический подход (символично-акратический метаязык) связан со значимостью и ценностью политической онтологии: важно **не как, а что** мы описываем, не «истинные» мето-

ды описания, а сам объект. Так как мир опосредован языком и дан через язык, не следует нейтрализовывать «тело языка». Его редукция и формализация могут привести к отбрасыванию самой истины в угоду частному и второстепенному, хотя и непротиворечивому (объективному). Раз мир дан через призму языка, то, соответственно, изучать его следует посредством языка, путем его интерпретации, раскрытия во всей его полноте и противоречивости, что, собственно, и является способом уяснения истины. Не нужно превращать язык из мира идей, особой действительности в операциональное средство, так как через его полноту, символическую насыщенность говорит само Бытие. Язык и есть само Бытие, а не инструмент «чистой мысли». Формализация и редукция языка искажает Бытие, языку же нужно просто следовать, прислушиваться к нему.

Свойства политического бытия возникают в процессе описания, а не предпосланы ему как универсальные и неизменные. Более того, описание само творит и открывает бытие политики. Здесь трудно разделить субъекта и объект, язык и бытие. Если описания и измерения политики противоречивы, это не означает их ложности, негодности инструментов измерения или сознания измерителей – таково Бытие, оно противоречиво и едино одновременно. Любая интерпретация или даже все интерпретации, как утверждают постмодернисты, могут оказаться истинными, например при восхождении на иной уровень описания.

Истина несводима к методу и не является априорным содержанием метода, с помощью которого рефлексируют над фактами. Истина шире метода, она принадлежит жизненному миру, факту, действию, воле. Метод же всегда ретроспективен в том смысле, что апостериори относит истину к той или иной редуцированной схеме, классификации, перспективе. Поэтому метод не открывает истину, а вторично воспроизводит ее в процессе субъективного понимания. То есть метод – всего лишь склонность определенным образом, в соответствии с той или иной мыслительной традицией интерпретировать мир. И здесь научный метод ничуть не лучше в плане познания пред-рассудка, мифа или идеологии, его привилегированность является объектом веры адептов данного метода.

Принцип символа связан с пара-доксальностью политического бытия и способов его осмысления в буквальном смысле, как того, что противоречит доксе – очевидному и соразмерному здравому смыслу человека. В качестве методологически близких метаязыков описания можно назвать феноменологию, экзистенциализм, герменевтику, синергетику, постструктурализм, деконструкцию, мифологию и т.п.

Герменевтико-акратический метаязык политической науки возникает как критика идеологии, рефлексия над конфликтующими идеологическими ценностями. Основная претензия к доминирующему знаковому метаязыку власти заключается в том, что латентно этические по своей природе политические рассуждения о «всеобщем благе» происходят в декларативно свободном от морали интеллектуальном поле. Причем эта свобода представляется необходимым условием превращения политологии в позитивную науку. Проблема в том, что демонстративное отстранение знаково-экратического метаязыка от морали и политически значимых интересов вовсе не гарантирует исследователю объективной точки зрения «над» схваткой и вне идеологий. Политическое знание по определению не может быть нейтральным и объективным, оно пронизано властными интересами.

Иными словами, абсолютная объективность рефлексии в политическом поле недостижима, граница между идеологом и политологом остается весьма прозрачной, поскольку отбор эмпирических фактов, исследовательских средств и теорий связан с априорным ценностным выбором метаязыка описания, что обуславливается социальным и идейным расположением исследователя внутри политического поля как пространства интересов, ценностей, точек зрения.

Политическое знание здесь амбивалентно, контекстуально и подозрительно к универсальным истинам. Если методы формализации стремятся получить конечную истину путем организации закрытого непротиворечивого дискурса значений, ограниченного имманентным политическим пространством, то интерпретация акцентирует внимание на исторической, контекстуальной, социальной подвижности связи означаемых и означающих. Концепция

подвижности, плавающей связи означающих/означаемых, будучи примененной к значениям формализованных концепций, заново открывает их контексты, в которых значения становятся смыслами, знаки – символами, а абсолютные политические истины – историческими.

Принцип символа: квантовая физика, паранепротиворечивая логика, отмена закона исключенного третьего, дискурс норма=ненорме, мифологичность, индетерминизм, «развеществление» (физического мира через кванты, социума через виртуализацию, субъекта через анонимность, дегуманизацию), парадоксальность политического бытия, иррациональность.

Дело заключается не столько в том, что выбор методологии и метаязыка описания определяет характеристики политической реальности и объектов исследования, сколько в том, что и отсутствие рефлексии при выборе «аналитических орудий», своего рода «невыбор», тоже детерминирует ценности и выводы исследования. Поэтому исследовательская задача состоит в выяснении и проведении границы там, где в стратегии политического познания исключения становятся более значимыми и самоценными, чем универсальные правила. Иными словами, какие историко-политические условия и расположение субъекта номинации в поле власти диктует появление и использование определенной модели метаязыка, на чем может строиться их разбивка и различение вообще?

Любой политический факт, феномен, событие в этом смысле двойственен и может быть рассмотрен с обеих позиций. Позитивная модель политологии связана с самореференцией власти и тавтологическим теоретическим метаязыком. Герменевтическая модель политологии, наоборот, определяется идеями социальной критики, критическим метаязыком, взрывающим сложившийся идеологический статус-кво. Господство той или иной модели тесно связано с исторической ситуацией, уровнем доверия к власти, эффективностью ее легитимации, стабильностью/нестабильностью политического режима, особенностями политического участия и т.д. В спокойные стабильные времена «малой политики» господствует «естественный» позитивный подход, во времена перемен и транс-

формаций – герменевтический, в рамках которого «научнообразная» идеология сменяется утопическими политическими проектами.

Несмотря на методологический антагонизм, принадлежащий «внутреннему плану» политической науки, энкратический/акратический метаязык образуют метапарадигмальное методологическое единство, связанное с принципом дополнительности, восполнением аксиоматических недостатков друг друга в описании политики. Этим же объясняются как причины «методологической жесткости» структуры доминирующего метаязыка политической науки, так и, соответственно, антисциентистские методологические особенности оппозиционного метаязыка, связанные с восполнением «белых пятен» и конструктивных ущербов доминирующей модели метаязыка политической науки.

При этом полному властному контролю поддается лишь модель метаязыка, организованная в логике знака, функциональная и однозначная. Именно данная модель политического метаязыка доминировала в «век идеологий». Однако метаязык, организованный согласно познавательной структуре знака, всегда ограничен в том смысле, что полностью соответствует только внутренней реальности политической системы, латентно он всегда символичен. Обнаружение этой символичности, собственно, и являет в ретроспективе конец претензий властной структуры идеологии на естественность и универсальность, т.е. на обладание конечной политической истиной.

Данное знаково-символическое методологическое разделение является не классификационным перечислением, но глобальным разрывом, предшествующим рефлексии теоретического субъекта о политике. Эти аксиомы определяют, осознанно или бессознательно, метод, средства и сам образ политической науки, возникающий в политологических парадигмах.

Главная проблема связана с аксиоматическим ценностным конфликтом, столкновением антагонистических друг другу, социально ангажированных научных парадигм. Эта политическая борьба за объективность, борьба за привилегию «нормативировать» политическую истину внутри политической науки вторично рационализируется. То есть расхождения истин и образов политики объяс-

няются постулированием того или иного метода, но не ценностей и интересов, легитимирующих фундаментальные «первоначала» и «способы мышления» о политике, которые, собственно, и придают политическому исследованию статус «научности». Причем выбор метода теоретиком психологизируется, объясняется особенностями его индивидуального восприятия, воспитания, развития и т.п., что характерно для вывода социальности из индивидуальности или, в еще более грубом «объясняющем варианте», из биологического начала (фрейдистские версии психоанализа).

Проблема, окруженная в доминирующей позитивистской модели метаязыка политической науки своеобразным обетом молчания, состоит в том, что: а) в современных политологических исследованиях априорно отождествляют политику с ее идеологическим состоянием, причем таким образом, как будто это тождество универсально и носит внеисторичный характер; б) научным объявляется только тип рациональности, исторически связанный с проектом Просвещения. Однако существует и другая постановка проблемы, как раз и являющаяся «объектом умолчания».

Речь идет о противостоянии знакового метаязыка «панлогистов», констатирующих всемирно-исторический, универсально-общечеловеческий характер политических законов и вектор необратимого прогрессивного развития, и критического метаязыка «органицистов», утверждающих, что культурный потенциал той или иной нации способен эффективно функционировать только при ориентации политической системы на ценности, адекватные и соразмерные ее культурной матрице. Сегодня актуальный пример подобного спора представляет глобализация политики, приветствуемая «панлогистами», и опровергающая ее этническая, языковая, религиозная фрагментация мира на основании границ, полагаемых этими культурными различиями, о чем пишут «органицисты».

Обобщить методологические противоречия знаковой и символической моделей познания можно в следующей таблице 2.

Таблица 2

Методология познания	
Символ	Знак
Естественное право	Позитивное право
Герменевтика, постструктурализм, феноменология, критическая теория	Позитивизм, структурализм, аналитический метод
Интерпретация	Формализация (редукционизм)
Принцип фальсификации	Принцип верификации
Идеографическое (описательное) знание	Номотетическое знание (построение универсальных иерархических схем)
Прескриптивная (ценностная, нормативная) языковая игра	Денотативная языковая игра
Качественные методы	Количественные методы
Важнее ценность различий	Поиск истины как сходства и тождеств
Индукция	Дедукция
Риторика (паралогия, софистика)	Логика
Миф	Логос
Относительность, уникальность, особенность любого знания	Абсолютность, универсальность, всеобщность принципов научного знания
Асимметрия (неэквивалентность) означаемого-означающего	Эквивалентность означаемого-означающего
Иррациональность (воля, вера, интуиция, предназначение)	Рациональность (здравый смысл, самоочевидность)
«Жизненный мир»	«Система»

§ 3. Антропологическое априори модернистской политической науки

Исторически современность политической науки фактически тождественна ее «антропоцентричности». Нормативировал подобную ситуацию либерализм, поставивший человека в центр политики в качестве ее сущности, альфы и омеги модернистского, буржуазного дискурса властных легитимаций с помощью отождествления политического и гражданского.

Антропологичность политической мысли Нового времени связана со стремлением мыслить политическое через человека как объекта, в котором пересекаются трансцендентное и имманентное, сводя человека к онтологии, языку, разуму, опыту, труду и т.д., но забывая при этом, что мыслит все тот же человек. Отсюда его постоянно присутствующая в познании, но не-мыслимая двойствен-

ность: а) одного из объектов науки и, в то же время, б) конечной сущности, универсального критерия меры. Политическая антропология, очеловечивающая все политическое, начала выступать чем-то вроде политической метанауки, в которой черпают свои основания прочие политические науки. Подобная ситуация характерна именно для идеологического состояния политики. Поэтому без описания человека как исторического «априори» Нового времени невозможно уяснить в полной мере посылки и трансформацию метаязыка политической науки, ориентированной на это «априори». Исторически сущность человека выводилась из трансценденции природы – доиндустриальное состояние (миф, религия), техники – индустриальное состояние, «Другого» – информационное состояние.

Антропоцентричность «современной» политики определяет и ее ключевую проблематику в области теории познания и, соответственно, ценностную аксиоматику метаязыка политической науки. Человек попадает в центр политики в условиях захвата политикой всего общества, ее демократизации, опубликования и идеологизации. Сущность человека становится конечным, универсальным критерием, определяющим «цену» политических идей, идеалов, идеологий. Отсюда его привилегированность как ключевого научного объекта в привычном для современности виде, «психологизирующего» и «индивидуализирующего» публичную политику для масс. Однако подобное упрощение объяснительных моделей политики для непосвященных, посредством ее соразмерности индивиду и «обывателя», коварно в своей простоте, поскольку вовсе не дает ключа к ее пониманию, но лишь облегчает восприятие электоратом идеологических посылов в доступной для него форме. Впервые политический дискурс столь откровенно расслаивается на масовый и закрытый (элитарный).

Центральным дискурсом политики становится борьба идеологий за нормативную интерпретацию сущности человека как «*summum bonum*», именем которого легитимируется любое политическое действие. Иными словами, человек стал онтологическим основанием, предельной реальностью, «трансцендентальным означаемым», которым обладает политика Нового времени. Поэтому знание о человеке уже не может быть «просто научным» знанием,

оно становится политическим (идеологическим). Растет как роль науки, в качестве авторитетного автономного института объективного знания, так и желание власти детерминировать научно-политические истины. Вытекающая отсюда идеологичность научного знания о политике, его ангажированность, впервые придает политике тотальность, мыслимую в политической теории как целостность человека.

Однако в то же время человек оказывается новым догматическим кругом политической эпистемологии, через который объясняются все политические действия, сущности и феномены. Но сам человек оказывается странно непроницаемым, выступая в двусмысленной роли, с одной стороны, рядового объекта политической науки и в то же время с другой – ее априорного основания, над которым она не властна. Познание вновь замыкается в круге объяснения «подобного через подобное», а человек как структурный центр политики так и остается за пределами этой структуры, сколь бы гуманистической и антропоморфной она ни была.

В традиционном обществе сущность человека всегда божественна, даже если происхождение человека ведется от обожествленных звериных предков. Это утверждение равно справедливо для анимизма, фетишизма, язычества или христианства. Отсчет истории цикличен и конечен, ведется «от» или «к» «золотому веку», будучи сопряжен с прамоделью естественных природных циклов. Мифо-религиозная легитимация социальной власти представляет ее как сверхъестественный и внеположный реальному политическому устройству принцип. Власть транслируется из неуязвимого сакрального измерения, задающего принципы низшего земного порядка, без каких-либо возможных обратных связей. Однако трансцендентная сущность человека здесь настолько самоочевидна, что эффективность различного рода нарративов (мифов) или авторитета всеобщей религиозной морали оказывается более чем достаточной для оправдания власти. Дух, душа есть сущность человека, «как естественный религиозный орган», тот центр, который задавал принципы организации властного политического пространства. Истина языка власти здесь не нуждается в разделении слитно-

сти тела и души, для властного контроля реальности через сознание или наоборот.

Человек в традиционном обществе представлял собой именно **часть** коллективного тела народа. Поэтому всеобщая этика, основанная на морали, религиозных ценностях, имела приоритет над вытекающим из них правом как чем-то вторичным, производным, а следовательно, и над правами человека. В гражданском обществе, наоборот, формальная политическая власть подчинена кодифицирующему и устанавливающему ее праву. Соответственно, в традиционном обществе индивид никогда не осмыслялся в качестве исходного атома, из которых собираются такие «искусственные» политические конструкции, как рынок, гражданское общество, классы. Отсюда – очевидная власть авторитета коллективного политического тела над его частями-атомами, выраженный политический холизм, реализуемый, например, как в идее православной соборности, так и в социалистической идее народности государства. Государство не противопоставлялось, но, наоборот, отождествлялось с обществом (народом), описываясь не как механическая сумма индивидов, но именно как неделимая духовная целостность. Поэтому индивид и не нуждался в своей защите «добрым гражданским обществом» от «злого государства», поскольку они для него суть одно и то же.

Здесь само политическое размышление, исходящее из аксиоматики прав и интересов рационального индивида, рассматривается как неспособное различить неоднозначность и множественность уровней социально-политического мира, как точка зрения, позволяющая наблюдать лишь дискретные фрагменты «атомной решетки общества», «индивидуальную политическую реальность». С точки зрения традиционного общества гражданское общество характеризуется как «падшее состояние», где индивиды отпали от скрепляющих их на земле органических социальных форм существования, через которые только и была возможна трансляция божественной благодати и в которых было слышно слово Бога. Поэтому позитивистская индивидуалистическая картина политики критикуется здесь как слишком частная, механистическая и неполная.

В силу этого легитимность политической власти, исходя из описанных выше особенностей традиционной политической культуры, неспособна утвердиться, исходя из главенства индивидов как «неслиянной» механической суммы, не образующей надындивидуальной социальной общности, а следовательно, и легитимности, даже если она составляет большинство. Поэтому собрать распавшееся органическое общество нельзя даже путем «общественного договора», так как он в нем нелегитимен. Приоритетными, наоборот, являются не единичные, а коллективные и всеобщие социальные формы: общество, народ, государство, класс, которые опираются опять-таки на авторитет всеобщей морали, что дает им легитимное «право номинации».

Для традиционной политической культуры характерен вывод социально-политического порядка власти из сакрального, божественного порядка, а не из природного и биологического. Отсюда сопротивление переносу естественных законов природы на человека, на само общество, где они, в свою очередь, становятся неестественными. Разница биологического мира природы и культурного мира общества в доидеологической мыслительной традиции всегда осознавалась четко.

Поэтому, например, в традиционном по сути своей российском обществе начала XX в., марксизм и был воспринят прежде всего как метод, а не как идеологическая доктрина – руководство к действию. Наибольшее значение имели моральные, ценностные выводы Маркса о капитализме, стоимости, эксплуатации и отчуждении. Сама же экономическая логика «Капитала», ее универсализм, апология прогрессизма капиталистической экономической модели были отторгнуты, что показал весь ход революции 1917 г., осуществленной не благодаря, а вопреки идеологическим установкам и выводам Маркса.

Проблема взаимосвязи имплицитных теорий *homo politicus* и форм идеологического оправдания власти в политической науке практически не рассматривалась. В дискурсе политических наук речь о человеке идет, как правило, лишь в рамках частных областей и когерентных им политических дискурсов и практик (политическая психология, элитология, проблематика, связанная с политиче-

ским лидерством, формами политического участия, мониторингом электората и т.д.) так, как будто вопрос о природе человека в целом либо уже решен и предельно ясен для всех заинтересованных сторон (рационализм), либо сама эта природа представляет нечто вроде «черного ящика», в который невозможно заглянуть (бихевиоризм). Таким образом, вопрос детерминированности дискурса легитимации власти нормативной сущностью человека по сути своей затушевывался в связи с невозможностью познания последней. В первом приближении этот эффект выглядит странно, поскольку возникновение политической науки в современном виде связано именно с доминированием либерального дискурса Нового времени, оформленным в борьбе «великих идеологий» за сущность человека. Причем невиданно возросшая значимость последнего позволила даже поместить человека в центр западного политического универсума.

Однако, на наш взгляд, очерченная проблема продолжает имплицитно присутствовать и предопределять на онтологическом уровне выводы политических исследований. Причем проблема легитимности власти обычно связана в политологии с прагматической сферой технологии власти. Поэтому критерии легитимности интерпретируются как технологические количественные индикаторы, например, такие как эффективность властвования; насилие; мнение большинства; особенности отношений субъекта и объекта власти; организация, структура и процедуры власти.

Важный дополнительный аспект рассматриваемой проблемы состоит в том, что само знание о человеке часто и некритично инкорпорируется в политологию из «иных» научных дисциплин — психологии, биологии, социологии, неся за собой шлейф внеположных политике идей и проблем, размещение и переинтерпретация которых в рамках политического поля не всегда являлась адекватной их первоначальной сути, т.е. из цели превращалась в средство для вторичных политических целей. Причем именно ключевой вопрос о природе человека, к которому сводится все гуманитарное знание, в политологии отсылает исследователя к другим областям знания.

Дело в том, что политическая наука, в своем господствующем дискурсе, зачастую сливается с тем, что она изучает, т.е. с вла-

стью, легитимируя ее посредством системы политического знания. Здесь познание подчиняется идеологии, политической практике власти.

Непротиворечивая самореференция знаковой модели мета-языка политической науки прерывается в тот момент, когда она задается вопросом о природе человека. Здесь обнаруживаются онтологические корни, легитимирующие политическое знание, но выносимые за его пределы. Сама постановка подобного вопроса как ключевого в политическом дискурсе стала возможной в ходе Возрождения и тесно связана с фигурой Макиавелли, который порвал с зависимостью политики от нормативного теологического учения. Однако позднее, от Просвещения и до современности, доминировала трактовка природы человека, сводящая его к Разуму, который в своей трансцендентности потеснил Бога. Разрушение морального авторитета церкви, конфликтующего с универсальной политической логикой Капитала, привело к секуляризации и автономизации порядка земного от порядка божественного, что обусловило превращение моральной философии в политическую науку. В последнее же время природа человека центрируется все более на основании Языка.

Самой сутью изысканий гуманитарных наук является неизменный со времен Сократа девиз «Познай самого себя», переформулированный Кантом в ключевой вопрос философии: «Что такое человек?» То, как мы отвечаем, т.е. способ ответа на этот вопрос, задает нам дискурс интерпретации, классификационное основание для оценки человеческого как такового. Узнав истину о человеке, становится возможным определить, что для него благо, которое в свою очередь легитимировало бы политические истины и деятельность, направленные на его достижение. Однако этот вопрос нельзя путать с готовыми идеологическими **моделями** человека, которые заранее определяют аксиомы и выводы энкратической политической теории. Для нас важнее всего то, что сущность человека является детерминирующим основанием методологии, с помощью которой осуществляется легитимация политической власти. То есть сущность человека является трансцендентальным основанием как властных легитимаций, так и легитимаций политической истины.

В таких условиях актуализация вопрошания о гуманизме, на наш взгляд, стала возможной лишь в ситуации обнаружения «ино-го» в человеке, нежели то, что клалось в его основание специфическим типом европейской рациональности Нового времени. Социальная критика позитивизма, ослабление его доминирующих позиций в науке на протяжении всего XX в. осмыслялись в рамках этого подхода как кризис науки вообще. На самом деле речь идет лишь об изменении границ научности, определявшихся до тех пор либеральной моделью человека как абстрактного индивида, которого необходимо подчинить универсальному Разуму и всеобщим политическим идеям.

Нарастающая неудовлетворенность такой трактовкой человека, ее неэффективность привели к тому, что легитимность власти, опирающейся на данную модель метаязыка, стала шаткой вместе с этой моделью. Свержение разума с пьедестала потребовало поиска других эффективных качеств человека, на которые мог бы опереться господствующий политический дискурс. Неэффективность легитимаций властного дискурса знаковым метаязыком, опиравшимся на классическую либеральную идеологию абстрактного рационального индивидуума, привела к вытеснению методологического индивидуализма холизмом. С одной стороны – консерватизмом, заменяющим индивида родом, а рациональный выбор традицией, с другой – социал-демократией, которая провозглашает примат коллективных субъектов политики, т.е. классов, над детерминируемыми ими индивидами.

Главная тенденция в изменяющейся трактовке природы человека состояла в том, что на место первоначала человека, дающего нам последнюю истину о нем, взамен универсального Разума стал выдвигаться Язык. Причем не модель языка, когерентная разуму, создавшему его по своему «образу и подобию», но язык как таковой, до членения на какие-либо модели и подчинения каким-либо универсальным правилам, язык, открывающий человеку самого себя в истории. Человек перестал конструироваться как абстрактный рационально мыслящий индивид. За индивидом открылся род, разум потеснили чувства и бессознательное. Помещенный в историко-социальный контекст, человек стал обрывать внерацио-

нальными, но уже не менее важными для своей природы переменными. Оказалось, что структурной идеологемой разума вытеснялись такие равнозначные ему качества как вера, этнос, социальное положение, возраст, воображение и т.д. Человек обрел многомерность, и эта множественность человеческих начал перестала быть тождественной сама себе в одномерном рациональном пространстве представления. Оказалось, что язык не тождественен разуму, но гораздо шире последнего, что помимо научной модели языка существует множество других: язык чувств, жестов, аффектов, воображения и т.п. Язык человека стал более глубоким отражением его природы, чем сам Разум, вырвавшись из оков формальной логики и здравого смысла. Рациональность превратилась едва ли не в маргинальное качество человека, отражающее лишь одну из его черт и, возможно, не самую главную.

Иными словами, научная истина о природе человека приобретает идеологический характер, когда ее вписывают в некие готовые результаты и формы, получаемые политической наукой и сопряженные с социальными, экономическими, культурными интересами, в которых она поначалу становится вторичной, потом изменчивой, а затем и полностью растворяется. Распадение онтологической целостности человека, дифференциация познания человека путем разграничения философии, науки (биология, археология, история, антропология, психология и т.д.) и религии, каждая из которых трактует человека лишь в рамках своих частных дискурсов, ведет к нарастающей фрагментации синтетических оснований гуманности, облегчая тем самым задачу манипулирования ими через сведение человечности к ее «нормативным» качествам.

В XX в. было принято считать, что наиболее сущностное знание о человеке может дать психология, пытающаяся опереть свой теологический дискурс на авторитет науки. Тем не менее психология, приступая к делу, уже требует некоего первоначала, теоретической схемы человека для собственно психологической интерпретации, что указывает на структурно-идеологический характер самой психологии. У Хайдеггера есть замечание о том, что «здесьбытие» человека, его природа-сущность, никогда не стави-

лась под вопрос в Новое время¹. Постмодернизм идет еще дальше, утверждая невозможность обосновать и вывести природу человека из некой сущности, тем самым превращая его в человека без свойств или, иными словами, определяемым тем контекстом – политическим, экономическим, религиозным, в который мы его помещаем и рассматриваем в каждом отдельном случае. Соответственно, сущностные, естественные качества человека всегда будут пребывать в зависимости от конформного для данной власти образа человека, его модели, легитимируемой обычно из сферы должного. Однако ключевое место человека в политике связано с невозможностью детерминировать его полностью с помощью любых структур, законов и моделей, поскольку человеку присущи желание и воображение, которые всегда будут рвать любые накладываемые на него самотождественные модели и структуры. Переинтерпретация же последних обусловлена историческими трансформациями социально-политических структур.

В этом смысле природа человека предстает как «актуально бесконечная», но тем не менее реализуемая в конечном пространстве политики, в имманентных этой конечности формах. В политике реализуются идеологические концепты, т.е. только модели человека, обусловленные актуальностью в данный момент тех или иных его качеств, связанных с задачами борьбы за власть и легитимирующих эту власть в рамках конкретной исторической «эпистемы».

Однако кризис всего идеологического дискурса Просвещения и его модели политического субъекта ставит под вопрос положение человека как центра постсовременной политики, определяющего ее суть. Вполне возможно, что и политический человек-субъект не вечно стоит на воздвигнутом для него властью пьедестале и на смену уже готовы заступить различные неоархаические и постмодернистские концепты: традиция, техника, трансперсональность, нарратив, и т.п., модель метаязыка которых будет голосом новой власти.

¹ Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 342-343.

Различие трактовок природы человека, которые определяют «антропологию власти», – есть различие политологических мета-языков, которое лежит в основе политического ядра общества и служит критерием и условием связи прочих политических феноменов, определяя в том числе и «символически генерализованный» код власти. В ходе установления капиталистического общества сущность человека оказалась подчинена логике господства универсального имманентного экономического обмена и референции Капитала, освобожденного от ценностных ограничителей. В условиях господства «экономизированного» кода власти оказалось, что любая ценность может быть овеществлена, любой объект может стать товаром и быть оцененным: концепт меновой стоимости подчинил себе сдерживавшие его ранее религиозные и культурные ограничители. Нет ценностей и объектов, которые можно было бы освободить от этого оценивания, в том числе и человека. Человек полностью может быть оценен, т.е. овеществлен как товар. Неподвластная такой оценке сущность человека выводится за рамки описания как не влияющая на данную референцию: «Все проходит и все продается. Человек – такой же товар, как и все остальное, и у каждого из нас свой срок годности»¹.

Сущность человека являлась условием легитимации политической власти в докапиталистической, доидеологической политической мысли лишь в той степени, в которой она отсылала исследователя к чему-то трансцендентному в человеке, к тому, что превосходит человека в самом себе, будь то служение богу, царю, государству, народу, классу и т.п. Логика и референция Капитала – овеществление и оценивание – вдруг оказываются неуниверсальными, историческими в ситуации, где только причащение к надындивидуальному миру идейных символов наделяет человека-субъекта правом голоса, придает власть его политическому Слову, будь то Слово от имени общины, народа, класса или государства.

Центрированность традиционного общества на силе Слова, на сакральных истинах, преподносимых как абсолют откровения, весьма тесно переплетается с приоритетом превращенной формы

¹ Бегбедер Ф. 99 франков. М.: Иностранка, 2002. С. 18.

религиозной традиции: «В начале было Слово, и Слово это было у Бога, и Слово было Бог»¹, вытесненной позже модернизированным научным дискурсом истины как модели, истины как приближения. В последнем случае дискурсом истины является норма, что-то усредненное, консенсусное, договорное, но не всепоглощающее, снимающее все идеологические, секулярные противоречия откровение Слова.

Современная политическая глобализация обостряет это состояние до предела, разрушая нации и государства, приводя к тому, что вместе с политическими институтами, поддерживающими нацию-государство, исчезают и надличностные коллективные, групповые ценности, на которые они опираются. Естественно, доминирующим в отсутствии «политически иного», но за его счет становится номиналистский гуманистический дискурс. Любые концепции, противопоставляющие методологическому индивидуализму – холизм, т.е. приоритет перспективы классового, общественного интереса (целого) над частным интересом индивида, тут же дискредитируются путем обвинения в тоталитаризме.

Однако здесь возникает явный парадокс. В традиционном обществе политическое понятие свободы возникает не из абстрактно-естественного договора индивидов («делай, что хочешь, только не мешай другим»), не из «природного» стремления к ней. Свобода изначально мыслится как социальная категория, подразумевающая внутренние ограничительные условия. Более того: «Свобода, лишенная оков “иррациональной” этики (Бога, любви и совести), в представлении мыслителей традиционного общества – это свобода бесов. Ее утверждение неминуемо ведет не только к разрушению самого одержимого, но и к гибели невинных людей, никакой закон их не спасет. Подавление этической ответственности означает и подавление свободы, сверхчеловек – тоже раб»².

Как ни парадоксально это звучит, но внешняя несвобода от «тоталитарной», т.е. всеобщей политической этики, от соответ-

¹ Евангелие от Иоанна // Библия. М.: Духовное просвещение, 1991. Т. 2. С. 311.

² Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. Т. 2. С. 620.

вия формальным, общепринятым символам и авторитетам в традиционном обществе может естественным образом сочетаться с внутренней свободой. Предельно развитые формы самиздата, кухонных посиделок и практически тотального интеллигентского инакомыслия в СССР – наглядное тому подтверждение. На Западе, наоборот, в условиях разрушения единого универсума символов и ценностей, невозможности контролировать общественные отношения опосредованно средствами всеобщей морали, власти не оставалось ничего иного, кроме как прибегнуть к контролю внутреннего субъективного пространства человека с помощью технологии манипуляций. Предоставив индивиду полную свободу тела, эту предельную свободу частной собственности, власть «приватизирует» при этом его сущность (душу), симулируя ее как «естественный рациональный орган», как здравый смысл, развивая концепты «управляемой демократии» (легитимация манипуляций) и общества потребления (формы «потребительского контроля»).

Постмодернистская политика легко инкорпорирует любые неподчинения и отличия. При этом политическая критика лишь подчеркивает формальную терпимость власти, а свобода превращается в главное оружие легитимации, концептуально отождествляемое с данной политической системой. Вызов такой системе может быть только парадоксальным: не требование свободы, потому что и так все давно освобождены из-под диктата привилегированной нормы (норма=ненорме), а отказ от такой свободы является реальной критикой, выходом из predetermined вариантов выбора на закон (субъекта), который эти правила выбора устанавливает.

Община в своем широком понимании, как микромодель «теплого общества», отличается цивилизационно от общества гражданского с его микромоделью протестантской секты, в котором, следуя «естественному» механизму конкуренции, идет непрекращающаяся «холодная война всех против всех». Тоталитаризм общины выражается, прежде всего, в том, что она равнодушна, вовлечена в судьбы составляющих ее людей. Человек в общине конечно же не является суверенным гражданским атомом, он – составляющая целого, представитель всего народа, который, в отличие от гражданского общества, вовсе не является механической

агрегацией суммы индивидов, но составляет качественно иное социальное образование, где все связано со всем, как части в едином социальном организме, расширенной до политического состояния семье. Поэтому как права и обязанности отдельных членов этой семьи выходят за рамки их частного «жизненного мира», так и обществу-семье позволительно интересоваться жизнью человека гораздо глубже полагаемых гражданским обществом суверенных границ неприкосновенности частного состояния индивида.

Власть действует от имени политической семьи-общины. Подобный тип власти по своему генезису глубоко трансцендентен, традиционен и патриархален, как и само подобное взаимодействие, где власть, в виде своих политических институтов, ответственна за граждан, а политическая культура носит типичный подданнический характер. Отсюда же вытекает и повышенная степень ответственности человека: не только за себя самого, но и за родственников, сослуживцев, соседей и за народ-семью-класс в целом, которые, в свою очередь, ответственны за всех членов составляющих их семей. И только на этом безусловном чувстве ответственности «своей за всех» и «всех за себя» возможно надстраивание политических свобод как мер, регулирующих степени различных ответственностей. Человек здесь является гражданином именно в силу своей причастности к целям и свершениям, выходящим за рамки его частного бытия, но касающимся жизни включающих его общностей, коллективов и страны в целом. Условием такого типа взаимодействия человек-власть является тот факт, что в традиционном обществе тело не рассматривалось как частная ответственность личности.

Наоборот, отчуждение через бинарный код: коллектив-индивид, душа-тело, власть-общество и последующее взятие собственного тела в частную собственность служит основанием любой другой частной собственности и надстраиваемого на ней политического суверенитета человека как гарантии неприкосновенности этой собственности. Иными словами, индивидуальная частная собственность в современной (капиталистической) ее интерпретации служит условием распада традиционного общества, разделения людей на два класса: собственников, обладающих политическими

правами, и несобственников, выпадающих по этой причине из «политического класса». Отсюда вытекает отсутствие у несобственников политических прав и возможностей их защитить в условиях разрушения традиционных политических механизмов первыми образцами формирующегося «дикого» капитализма. Но как пишет Н. Хомский, «Нет прав *собственности*, есть лишь право *на* собственность, т.е. право лиц, имеющих собственность»¹. В докапиталистическом, религиозном дискурсе «капитализация» общественных отношений собственности описывается в рамках сюжета изгнания человека из рая, прихода общества в падшее, греховное состояние.

Таким образом, в заключение можно сделать вывод о том, что человек в традиционном общинном состоянии просто имеет большую степень как прав (свобод), так и обязанностей (ответственностей) перед обществом-государством, он органически влит в это общество, в сравнении с гражданским обществом, постоянно находящимся в состоянии «холодной войны». Идеологический спор западников и «патриотов» исторически строился как риторический. Ни те, ни другие не рассматривали абсолютную сумму прав и обязанностей человека «здесь» (в России) и «там» (на Западе) в ее отношении к свободе человека. «Освобожденцы» легитимировали свою модель сравнением обязанностей у нас и на Западе, «тоталитаристы» указывали на разницу объема гарантированных прав и свобод в целом, а не только в части формально декларируемых «политических свобод».

§ 4. Исторические метаязыки политической науки и появление постмодернистской политики

Уяснение нормативной структуры «современной политики» и кризиса этой структуры в постмодернистской версии политической эпистемологии является необходимым условием постижения ценностно-методологических оснований метаязыка политической науки и его новейших трансформаций.

¹ Хомский Н. Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок. М.: Праксис, 2002. С. 71.

Историческая эволюция политического состояния общества прошла ряд этапов, в каждом из которых господствовала определенная, имманентная именно данному состоянию политического структура представлений о человеке, власти, природе, «высшем благе», которые предлагали объяснительные и легитимирующие идейные структуры для политической власти. Структура идей и символов в исторических политических сообществах образует совершенно различные идейные стержни, вокруг которых оформляется пространство представлений о первоначалах, принципах, ценностях и целях, на основании которых должны строиться отношения по поводу власти.

Смещение исторических метапарадигм политики и доминирующих в них базовых мифов общества в единую, панлогистскую цепочку общечеловеческого прогресса только затемняет суть проблемы. Более того, опрокидывание на прошлое или будущее самоочевидных для современности категорий, описывающих политику, ценности, модели общества и человека, лишь затрудняет познание сущности «не-современной» политики и видение возможных альтернатив этой современности, в том числе и внутри нее самой.

Обозначить исторические метапарадигмы, между которыми лежат фундаментальные разрывы представлений о политическом, о власти, обществе и человеке, можно следующим образом:

1. Политическое как мифологическое. Здесь в области властных отношений господствуют объяснительные структуры мифа с их слитностью сакрального и земного, мгновенностью перехода этих состояний друг в друга, вещественностью представлений, оборотничеством, телесностью, алогизмом, неразличимостью языка и мира, субъекта и объекта и т. д.

2. Политическое как религиозное. Божественность опыта политического бытия. Истина как откровение обладает мистической формой. Холизм. Непререкаемость традиции. Основанием оправдания власти является всеобщая мораль, вырабатываемая от имени Бога институтом церкви. Политическая этика основана на понятиях долга, чести, славы. Производится четкое разделение сакрального и земного. Социально-политическое устройство общества выводится из сакрального, высшего порядка ценностей.

3. Политическое как идеологическое. Антропоцентризм. Господство объяснительных структур идеологии как системы ценностей, имманентной автономному политическому полю. Рациональность опыта политического бытия. Логическая форма этого опыта как условие его истинности. Впервые субъектом политики становится индивид, обладающий универсальным, абстрактным рассудком. Вывод социально-политического устройства общества из полюсторонних, «земных» концепций: общественный договор, естественное состояние, гражданское общество, материальная эволюция социально-политических формаций и т.п.

4. Политическое как нарративное. Связано с состоянием и ситуацией Постмодерна, который предлагает различные трансидеологические объяснительные структуры политики, такие как иллюзорность (виртуализация) политического бытия, моделирование политики через алгоритм игры, деконструкция идеологии, смерть субъекта, «имплозия масс». Речь идет о крахе классических рациональных моделей легитимации власти, связанных с суверенитетом, общественным договором, выборными процедурами, принципом большинства, представительностью и делегированием политической воли. Постмодерн связан с кризисом идеологий как кризисом организующих политику «метарассказов», делегитимацией идеологических моделей человека, общества, власти, концептов свободы, прогресса, прав человека, гражданского общества и т.д. В ситуации Постмодерна субъективный политический опыт (знание) вновь приобретает самоценность, не нуждаясь в классических научных процедурах верификации: объективации, рациональном объяснении, возможности воспроизведения и т.п.

Внутри каждой из этих исторических метапарадигм лежит особый политический код истины и аутентичная его внутреннему политическому пространству система символов, идей, представлений. Их отличия от других периодов более значимы, чем сходство. Каждый следующий этап содержит в себе «снятые», подавленные черты предыдущих, в том числе в качестве примеров не-нормы, конституирующих собственно политическую норму. Актуальная политика таким образом многолика и многослойна. Перечисленные идеалтипические исторические формы могут сосуществовать одно-

временно и даже следовать принципу дополнительности в отношении друг друга. Для полного выражения сущности современной политики, по-видимому, требуется уже не «монолог», а, своего рода, «полилог» метаязыков.

Особый интерес представляют третий и четвертый этапы развития властно-политических отношений. А именно – структура тавтологического и парадоксального метаязыков описания политики, присущих ее идеологическому состоянию, и переход к политическому как постидеологическому (нарративному), описываемому символическим (постмодернистским) метаязыком. Идеология – это форма политического метарассказа власти эпохи Просвещения и Модерна. Идеология как борьба за великие ценности исчерпана, поскольку великие ценности овеществились и перестали быть таковыми, став атрибутом реальности. Отсюда новая задача метарассказа эпохи Постмодерна – не идеальное отражение идеологически «правильного» бытия, а производство комфортного сознания.

Далее предлагается анализ условий возникновения и структур трех исторических теоретических метаязыков: идеологического (в тавтологической и критической формах) и нарративно-мифологического. Эти политические метаязыки связаны с оппозиционной структурой знаковых (формализация) и символических (интерпретация) методов в области теории познания, с их антагонистическими стратегиями отношения политического исследования к доксе, имеющей статус непосредственной политической реальности. Методы эти воспроизводятся в парадигмах политических наук и выражаются в трансценденции доксы – мораль, в формализации (апология) и интерпретации (критика) доксы – идеология, игроманипуляции контекстами и детерминантами доксы – логика нарратива. То есть в традиционном обществе метаязык политической науки опирается на мораль, в современном – на идеологии, в актуальном «состоянии Постмодерна» – на нарратив.

Конкретизировать на уровне политологических подходов выделенные идеалтипические методологические модели метаязыка можно следующим образом. Тавтологическая модель метаязыка политической науки методологически реализуется в наиболее чистом виде в англосаксонской модели политической науки, отри-

цающей все субъективное, выводящей споры о ценностях за пределы политической науки и не признающей нормативный уровень политики. Это означает, что в рамках данной модели возможен только один вид отношения к ценностям – апология господствующих ценностей, норм, традиций, принимаемых как нечто естественное, нерелексируемые составляющие элемента сложившегося политического порядка. Здесь можно отметить такие подходы, как позитивизм, институционализм, теория рационального выбора, бихевиоризм, структурно-функциональный подход и т.д. Тавтологическая модель является наиболее массовой, фактически основополагающей для современной политической науки.

Парадоксальная модель метаязыка политической науки основана на представлении о неразделимости политики и политологии, ученого и идеолога, имея ярко выраженную «левую» политическую ориентацию. Методологически она связана с неомарксизмом, герменевтикой, структурализмом, антропо- и культуроцентризмом политического мышления, выходом политической теории на принципиальные ценностные проблемы истинного/ложного, справедливого/несправедливого соотношения политического существа/должного.

Наконец, нарративная модель метаязыка реализуется в методологических рамках вариантов Постмодерна, постструктурализма, деконструкции как тотальной критики Просвещения и Модерна, любых универсальных и тотальных политических проектов, стилей мышления, норм, ценностей, претендующих на глобальную императивную общезначимость и объективную политическую истину (реальность). Речь идет о разнообразных теориях виртуализации общества, парадигмах глобализации и транснационализации, проблемах соотношения реальной политики и электронной гиперреальности и т.п.

В традиционном, «доидеологическом» обществе политической теории в современном ее понимании не существует, так как нет необходимости в теоретической рефлексии над доксой, из которой, собственно, и вырастает политическая наука. Докса выступает как набор самоочевидных тезисов-аксиом, не требующих концептуального обоснования и доказательства, но выступающих как

критерии, которыми руководствуются публичные политики и идеологи. Докса воспроизводится, прежде всего, в формах здравого смысла, общественного мнения, «нететических тезисах» (П. Бурдьё), «очевидных вещах», «естественном» и т.п. Традиция, мифы и авторитет всеобщей морали, которые обосновывают доксу, являются по отношению к ней первым «доидеологическим» теоретическим метаязыком описания. До установления своей автономности политическое поле функционирует в доидеологическом обществе, подчиняясь общим ценностям, правилам, институтам на основании доксы как «отношения непосредственного согласия с миром» (П. Бурдьё).

Доксическое представляет собой своего рода «жизненный мир», «нулевую степень» политики. Реальный политик имеет дело с политическим как с доксическим. Докса выступает как набор самоочевидных тезисов, не требующих концептуального обоснования и доказательства, но выступающих как объективные «объясняющие» критерии, которыми руководствуется публичный политик в своих действиях. Но политик не может при этом одновременно заниматься самоописанием, т.е. собственной объективацией. Эту задачу выполняет политическая наука. Политик имеет дело с политическим бытием как наличием опыта конкретных объективных проблем, задач, фактов, явлений, которые воспринимаются без теоретической рефлексии как непосредственная, безусловная данность, с которой мы сталкиваемся в столь же непосредственной политической практике. Доксический уровень политики нас в данном случае интересует лишь постольку, поскольку он является исходным материалом, «означаемым» в структуралистской терминологии, для политологических метаязыков, «схватывающих» этот дорефлексивный доксический опыт политики как «системы действия» в теоретических формах.

Политическое знание имеет дело с уже осмысленными и оцененными фактами. Его отправной точкой служит содержание политического опыта, в свою очередь ставшее предметом речи научного языка. Доксический опыт человека предстает как «нулевая степень», то, что объективируется и интерпретируется с внеположных ему позиций. Исследователь отстраняется в своей вторичной

рационализации от фактов, осмысляя их только как объект, как текст, который можно прочесть лишь владея метаязыком политической науки. Истинность кода политологического метаязыка подтверждается его способностью расшифровывать политику как текст, адекватностью его теоретического кода текстовому содержанию. Базируясь на основании доксического опыта, метаязык обобщает его в целостную картину, недостижимую в рамках самого опыта. Здесь ученый помещает содержание опыта в контекст теоретических схем, которые абстрагируются от особенного (личностного) в доксическом опыте в пользу рациональности внешнего для этого опыта метаязыка.

Современное автономное политическое поле и политическая наука, основанная на ценностях, воспроизводимых внутри этого поля, впервые появляются только тогда, когда политика приходит в идеологическое состояние. Этот процесс тесно связан с проектами Реформации, Просвещения, капиталистической Модернизации, каждый из которых внес свой вклад в автономизацию политической теории от трансцендентных ценностей, находящихся вне этого поля. Проект Просвещения¹ привел к тому, что имманентные идеологические ценности стали самоценными, а политика превратилась в посюсторонний конфликт социальных, экономических, национально-государственных, классовых интересов, т.е. пришла в идеологическое состояние.

Условием эффективного функционирования доксы является самоочевидное тождество категорий описания мира и наблюдаемых структур этого мира. В политологическом дискурсе поддерживать тождество политических категорий и мира призвана уже не докса, а теоретическая форма идеологии. Принцип идеологии как метаязыка по отношению к доксе заключен в торможении рефлексии (самоописания) и в нейтрализации «иного», т.е. политических альтернатив, нарушающих это тождество. Отсутствие политической рефлексии (самосознания) и «иного» обуславливает отсутст-

¹ В особенности его осмысление «задним числом», по итогам Великой Французской революции, когда он, собственно, и приобрел свою идейную оформленность и историческую целостность.

вие каких-либо значимых альтернатив сложившемуся идеологическому статус-кво, который идеология и призвана закреплять. Таким образом, идеология здесь в теоретической форме симулирует политическую доксу.

Возникнув как анализ идей, идеология претендует на абсолютность своей истины, обнаруживая «ложность сознания» своих противников. Впервые «разоблачающую» технику открытия «ложного сознания» властного субъекта применил К. Маркс. Ложность выявлялась анализом онтологических корней идеологического мышления соперников, определяющим историческую неуниверсальность этого мышления, его нетождественность политическому бытию как таковому. Так функционирует «тотальная идеология» (К. Манхейм), организованная на метаязыковом уровне на условиях знака. На данном фундаменте концептуально организуется реальная политика как противостояние «больших идеологий». Однако превращение идеологии, связывающей мировоззрение со структурированными социально-политическими группами и интересами, в систему политического знания, в современную политическую науку происходит лишь тогда, когда онтологическому анализу подвергается собственная онтологическая, социальная основа мышления, а негативное понятие идеологии как «ложного сознания» переходит из категории особенного, присущего только соперникам, в категорию всеобщего, превращаясь в систему политических наук. Именно рациональная наукообразная форма идеологии впервые синтезировала, с одной стороны, физикалистские, предельно реалистические описания политики в виде частного «субъективного опыта», с другой – тотальные «утопические проекты», схватывающие политику в целом. Идеология стала структурной моделью для классической политической науки XIX–XX вв.

Лишь когда политика приходит в идеологическое состояние, возникает потребность в новом метаязыке, который должен воспроизводить легитимирующий «метарассказ» в форме идеологии: либерализм, консерватизм, коммунизм и т.д. Ранее эту функцию для политики выполняли миф и религия. Появление современной политической науки связано с идеологической формой метаязыка, где идеология является ничем иным, как историческим «метарас-

сказом», структурирующим политику на третьем «классическом» ее этапе, этапе реализации проектов Просвещения и Модерна.

В классическом идеологическом состоянии политики дискурс власти стремится создать в политической науке «немоту» вокруг своей модели беспроблемного знакового метаязыка, дабы удерживать тождество его категорий с замкнутым-на-себя политическим универсумом. Здесь речь идет не о сущности метаязыка, поскольку этот вопрос затрагивает содержащийся в нем дискурс власти, но лишь о классификации политических феноменов и способах улучшения функционирования существующей политической системы. Метаязык в такой ситуации может быть не предметом вопрошания и анализа, но всего лишь носителем и способом изъяснения «властных» идей. В нем отождествляются «жизненный мир политики» и «система политического знания» как «объективное» представление о нем. Метаязык власти выводится из-под критики, занимая привилегированное место «над политическим». Сама возможность такой диспозиции даже не ставится под вопрос. Он определяет себя как единственно возможный объективный метаязык, который говорит о политике. Другие модели метаязыков вытесняются за рамки «научности», тождественные рамкам данного метаязыка. Таким образом, доминирующий внутри политической науки теоретический метаязык всегда связан с самореференцией власти.

Энкратический метаязык в политической науке традиционно связан с методом формализации, где прелюдией к началу собственно политической мысли служит принятие всего «таким, какое оно есть». Таким образом, в основу политической реальности кладется докса, как мнение большинства, здравый смысл, которые, фактически, не будучи критериями научных истин, становятся их априорными условиями и основаниями. Они воспринимаются политической наукой как данность, реальность, наличие, объективность, прежде чем начинается рефлексия самой науки, уже базирующаяся на этих основаниях.

Иными словами, для утверждения политической науки как изначально двойного института – знания и власти – была необходима бесспорная «объективная» парадигма в ее основании. Ведь споры о научном статусе, подходах и методах объективации поли-

тики подрывали бы другой ее столп – легитимацию власти. Поэтому в основу современной политической науки при ее учреждении был положен поиск научных истин, ведущийся как идеологическая деятельность, т.е. при постоянном контроле политического знания властью. Отсюда тождество в энкратическом метаязыке политического и политологического как попытка полного присвоения и доминирования первого над вторым. Тем не менее подобное идеологическое тождество скрывает, но не устраняет двойственность статуса политической науки, связанную со столкновением в ее эпистемологическом дискурсе описательных кодов научного знания и политической власти, стремящейся контролировать любое возможное знание о себе. И способы контроля, будь они жестко-тоталитарными или мягко-демократическими, формирующими «повестку дня» и «общественное мнение», нисколько в данном случае не влияют на принципиальную природу политической власти.

Развитие методологии гуманитарного знания, модернизация общества, появление новых форм коммуникаций не могли не трансформировать политическое поле. Изменились критерии эффективности и формы властного воздействия. Это повлекло трансформацию стратегии власти в отношении знания о себе. Дискурс постсовременной власти старается активно внедряться в символические (постидеологические) метаязыки. Здесь власть симулирует, вопреки классическим методологическим традициям своего оправдания, и собственные противоречия, и конфликты парадигм, и различные метаязыки описания политики, не оставляя попыток их контролировать.

Актуальный Постмодернизм как «состояние» политического знания и «ситуация» политического мышления связан именно с осмыслением и продуцированием политического как символического, когда в отсутствие универсальных научных критериев истины в политической картине мира находится место любому дискурсу. Попутно обнаруживается, что объективная политическая картина, если таковая имеется, всегда соответствует лишь дискурсу власти. Однако это соответствие возникает не потому, что дискурс власти истинен, а в силу того, что он так социально сконструирован. В условиях же открытой конкуренции дискурсов

символы несводимы к знакам, а смыслы к значениям, что обеспечивает избыток означающих и возможность интерпретации любых концептов.

Постмодернизм – это состояние внезапной отмены правил политической игры, отсутствие соревновательности, где каждый приобретает свою истину, но никто не может сделать ее всеобщей. То есть власть не способна подчинить себе знание через универсальную норму и фиксированные значения тождеств. Да это оказывается и ненужным в условиях трансидеологизации политики и появления нарративных форм «научного» оправдания власти и объяснения политики. Цепляние за системы означаемых, постепенно приобретающих исторический характер, указывает на то, что дискредитация этих идеологических систем произошла раньше, чем основанного на них сознания экс-властного политического субъекта, который продолжает их использовать.

Постмодернизм методологически выступает в двойственной роли: революционно/анархической и в то же время реакционно/антиутопической. Постмодернистская методология, как инвариант, может служить как разрушению сложившихся политических тотальностей, тождеств и универсалий, так и дискредитации любых утопических проектов, которые взрывают «общепринятые» концепты и претендуют на новую универсальность, потерянную «идеологической современностью». Если неомарксизм еще был связан с критической теорией и политической борьбой, то Постмодернизм рисует ситуацию ухода идеи революции в политическое бессознательное. Эффективность современной революции уже не связана с насилием и «раскачкой» холодных масс.

Постмодернизм понимает свою «революционную миссию», прежде всего, как противостояние тотализирующей целостности Модерна и его экономикоцентричного аналога – Капитализма (формирующего в настоящее время глобальный неолиберальный экономический порядок), через деконструкцию легитимирующих его онтологических и идейных оснований. Постмодернизм – это **ситуация и состояние конца идеологического**, но вовсе не некий новый «универсальный» политический концепт. Наоборот, это состояние отсутствия доминирования в политике нового эф-

фактивного концепта, универсального базового ядра ценностей структурно организующего новую систему политических ценностей, т.е. новую идеологию, мифологему, базовый миф, связанные с какими-либо значимыми трансцендентными и онтологическими субъектами. Обретение такой опоры будет скорее всего связано с переосмыслением и структурной адаптацией парадигм доминировавшего ранее знакового метаязыка «политического как идеологического».

Актуальный символический дискурс «пост-Модерна» характеризуется преобладанием расколотого (шизоидного) типа мышления, связанного с множественностью параллельных интерпретаций одних и тех же явлений¹. Причем эти интерпретации никак не ранжируются и не дифференцируются. Они просто сосуществуют, и это сосуществование, само переходно-промежуточное состояние мыслится субъектом как естественное.

Академическая политическая наука, анализируя политические явления и конструируя идеологические концепты, объясняющие политическую реальность, опасается затрагивать собственное пространство политического представления, его методы, границы и детерминанты познания.

Это пространство структурируется, в первую очередь, энкратическим политологическим метаязыком, поэтому не может быть естественным в качестве предельной реальности. Симптоматичное отсутствие интереса к собственному метаязыку в политической науке указывает лишь на господствующее стремление установить закрытый контекст исследований, присущий идеологической по своей форме самореференции власти. Разомкнуть подобную непротиворечивую методологическую структуру, маскируемую под универсальную, можно лишь преодолев ее тавтологику. Иными словами, найти такую внесистемную позицию, «не-позицию» (Ж. Деррида) по отношению к ней, которая позволила бы поставить под вопрос закон ее функционирования в целом. Подобная техника наиболее эффективно реализуется, на наш взгляд, путем анализа

¹ См.: *Руднев В.П.* Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология. М., 2002. С. 188-189.

структуры метаязыка политической науки, который, будучи фундаментом любой политической системы, теории, никогда не принадлежит полностью ни одной из них.

Проблема состоит еще и в том, что политическая наука балансирует на стыке кодов знания и власти, где последняя, будучи формальным объектом, тем не менее всегда стремится встать в субъектное отношение к изучающей ее науке, т.е. активно определять истину научного знания политической науки о себе. Это влияние связано с властным характером самого политического знания, с подмеченным М. Фуко¹ тождеством воли к знанию и воли к власти, особенно явным в политическом дискурсе. При этом дискурс власти представляет собой в политической науке не что иное как набор способов ее легитимации. Власть оправдывается через научное знание о политике. Поэтому анализ форм политического знания, методов его получения и верификации является способом выявления дискурса власти. Именно поэтому специфика выявления метаязыка политической науки неотделима от выявления сущности политической власти, например посредством смены форм ее легитимации в политической науке. Проблема определения власти заключается в том, что субстанция власти постоянно меняется вместе с исторической трансформацией метаязыка политической науки. Поэтому природа власти никогда полностью не совпадает с мыслительными концептами и властными структурами, с которыми ее отождествляют нормативные определения. Рано или поздно последние обнаруживают свою ложность в попытке зафиксировать сущность власти и политическую истину за определенными социальными структурами, институтами, группами и интересами.

Трансформация политического знания в символический капитал власти происходит путем превращения истины (описание) в норму (предписание). Норма опирается на структуралистскую догму о взаимно однозначном и неизменном соответствии реальности и представления о ней в тождестве политического означаемого и означающего в знаке. Естественно, тождество отрицает время,

¹ Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.

принципы иррациональности, случайности и стихийности. Оно сопряжено с тотализирующими по своей природе властными интересами, которые не заинтересованы в развитии бытийных и мыслительных изменений, ставящих под вопрос их собственные исторические основания. Поэтому вполне понятна интенция власти зафиксировать политический мир в своей модели знакового идеологического метаязыка. Поскольку эта модель претендует на универсальный язык, то ее эффективность базируется не столько на возможной истине, сколько на том, что она исчерпывает весь возможный политический язык (политическую реальность), все понятия, не оставляя места для альтернативных ценностей, смыслов, интерпретаций, которые оказываются за пределами выстроенной таким образом системы политического знания.

Однако тождество формализации и формализуемого, что собственно и объявляется истиной, требует своего доказательства. Знаково-энкратический метаязык отсылает в качестве своего основания к доксе, здравому смыслу, принципу самоочевидности как тому очевидному и непротиворечивому основанию, что не нуждается в доказательстве. Таким образом, мнение, лежащее, по Сократу, между знанием и незнанием, вытесняет истину как проблему в область трансцендентного, опираясь на самоочевидные нормы, легитимируемые с помощью концепта «естественности». Политологические теории фактически сливаются с идеологией, которая, имея концептуальное тавтологическое ядро, может иметь совершенно различное историческое наполнение разного рода «(само)очевидностями».

В политологии господство знаковой энкратической модели метаязыка означает, что метод и представление о политике задается, прежде всего, самой политической властью, лоббирующей свои интересы и представление о себе в структуре данного метаязыка. Код власти осуществляет здесь гегемонию над кодом знания. Прервать непротиворечивость модели политической науки, основанной на самореференции власти, способно, на наш взгляд, обращение к самому метаязыку политической науки как объекту исследования. Власть укореняется в априорной структуре метаязыка, формирующей политологические аксиомы представления. Поэтому

метаязык, опирающийся на концепт естественности и лишь отражающий окружающий мир, является по своей природе властным метаязыком. Он не может выйти за рамки естественного (=властного) порядка вещей, поскольку вне этих рамок он становится немым. Признать возможность «другого порядка вещей», справедливость критического метаязыка оппозиции и парадоксальность истины, не всегда тождественной очевидному, – значит добровольно отказаться от власти, обнаружить свое «политическое бессознательное».

Методология акратического метаязыка заключается в том, что исследователь работает с внутренней логикой политической системы не напрямую, но опосредованно, используя методы и средства анализа политических явлений из смежных областей знания. Ученый и власть, теоретический и практический субъекты не сталкиваются лицом к лицу. Речь идет, прежде всего, о междисциплинарном подходе, связанном с переносом на анализ власти символических техник: герменевтики, постструктурализма, мифических, антропологических, психологических интерпретаций политики, заново реконструирующих властно-политическое пространство.

Акратическая модель политического метаязыка тесно связана с обращением исследователей к власти через призму «иных», неполитических явлений, которые говорят о власти, не вовлекаясь непосредственно в ее поле: М. Фуко разглядывает власть сквозь призму дискурсов знания, Р. Барт описывает механизмы порождения власти из языка, Э. Канетти и С. Московичи выводят уравнение власти из таких социальных явлений как массы, Ж. Бодрийяр связывает изначальную власть с системами неравного обмена, психоанализ обнаруживает власть в бессознательном и т.д. Речь во всех случаях идет если не о замене, то, по крайней мере, о выявлении соотношения самонаблюдения политической власти с наблюдением за наблюдателем, т.е. применением в области политики таких методов и средств ее анализа, которые с традиционной точки зрения не принадлежат политологии, могли бы показать, как реальные коды власти проникают в политическое знание, детерминируют рамки политических представлений и научный метод, замыкая политологию на знаковую модель метаязыка.

Разрывающий самореференцию власти утопический метаязык дает нам, кроме демонстрации механизма самоописания власти, неконтролируемый ею контекст, выводящий ее за пределы самождественности. Речь идет не об открытии «естественных» позитивных законов политики и «общепринятых» определениях политических феноменов, которыми занимается знаковая модель метаязыка политологии, но о том, «как» и «кто» их устанавливает. Иными словами, кому выгодно и кто определяет, чтобы они были таковыми. Все это отсылает нас к выходу на сами основания политического, т.е. к власти: каким образом она объективирует себя в политологии, на концептуальном и феноменологическом уровнях, как себя описывает и, наоборот, как ускользает от критических определений, растворяясь в непоименованности.

Таким образом, в дискурсе знакового метаязыка политика как система самождественна, непротиворечива и замкнута в себе через тождество означающего и означаемого. Логика знания-власти является единственной, а потому объективной, истинной и непротиворечивой. Выйти за рамки данного метаязыка можно лишь «тематизировав» логику власти в политической науке извне, что отсылает нас к поиску **иного** по отношению к политической системе, т.е. к поиску разрывов, скачков и внесистемного, что невозможно, пока мы находимся внутри логики тавтологии, «естественности» и очевидности: «нечто есть то, что оно есть».

В любом случае «Претензии концепции на общезначимость неизбежно выступают как властные и могут быть подтверждены в символической борьбе не в силу метафизической фундированности очевидным присутствием или непосредственной достоверности концепции, а в силу ее социального превосходства: социологическая теория завоевывает право на существование благодаря гомологии ее научной позиции – доминирующей властной позиции»¹. Те же выводы еще в большей степени справедливы для политической науки.

Логика истины знаковой модели политической науки рушится, когда она сталкивается с чем-то, что, являясь неустранимым «иным»),

¹ Качанов Ю.Л. Эксперимент над истиной // Поэтика и политика. М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1999. С. 108.

не может быть «переварено» в логике тождеств и сходств, усвоено во внутреннем пространстве власти. «Иное» указывает самим фактом своего существования на неполноту энкратического метаязыка, ряд различий, неverifiedируемых кодом истины как абсолютного тождества. Отсюда возникают альтернативные метаязыки описания политики, ускользающие от включения во властный контекст. В качестве альтернативного контекста может выступать История. Либо наоборот: контекст берется столь узкий, что не позволяет развернуть идеологию власти на микроуровне изучаемого объекта, вырванного из своего традиционного идеологического ряда. Наконец, еще один прием связан со смещением расставленных системной идеологией акцентов, когда означаемое начинает соотноситься с другим означаемым и система идеологических маркеров не срабатывает.

Другой аспект проблемы связан с тем, что считается аксиоматичной высшей ценностью, задающей критерий значимости сходств и различий в политологическом исследовании. В этой роли могут выступать сущность человека, разум, мораль, интересы общества, эффективность власти, «высшее благо», справедливость и т.д.

«Немота» знаково-энкратической модели метаязыка политической науки в определении собственной высшей ценности связана с тем, что власть всегда стремится сконструировать контролируемую и непротиворечивую модель политики, когерентную ее интересам, но вовсе не интересуется сущностью политического как такового, поскольку это выходит за пределы ее задач в рамках политической науки.

По сути, легитимность власти выводится здесь из нее самой – ее функций, структур, техник, а исследователь наталкивается на негласный идеологический запрет опирать власть в дискурсе политических наук на то, что является опорой для самой власти.

Идеальная модель современного энкратического метаязыка политики возникла тогда, когда идейными дискурсами Реформации и Просвещения была разрушена традиционная всеобщая мораль как метарегулятор отношений человека, общества и власти. Всеобщий этический критерий истины был заменен на технологический научный критерий, исключая мораль из политического пространства. Трансцендентный «естественный религиозный орган» человека уступил место имманентному Разуму. Энкратиче-

ский метаязык воссоздал душу политики как Ratio, оформленное через новый привилегированный дискурс – дискурс политической науки как нормативного знания, связанного с психологией (психиатрией), биологией, социологией. Логика Желания – суть современной политики (власти), то, посредством чего она управляется, будь то инстинкты, потребности, неврозы, либидо, комплексы, права и свободы. Отсутствие Желания или, наоборот, его пресыщение, анализируется как патология, вызов универсальному энкратическому метаязыку знания-нормы, осуществляемые в виде безумия, маргинальности, преступности, иррациональности и т.п.

В наиболее явном виде эта трансформация власти была реализована на самом главном ее модернистском означаемом – на самом теле человека.

В доминирующем либеральном дискурсе западной цивилизации тела самодостаточных индивидов превращаются в их частную собственность, что освобождает их обладателей от таких морально-политических дилемм как проблема эвтаназии, проституции, эксплуатации и т.п. Однако освобождающее превращение соборной личности, органически включенной в различные надындивидуальные общности, в тело, в собственность индивида, с вытекающей отсюда моральной свободой им распорядиться – обманчиво. Во-первых, тело из формы проявления духа становится вещью, включенной в рыночный обмен. Референция человека как полностью поддающегося оцениванию тела (по экономическим, политическим, сексуальным и прочим критериям) лишает его доступа к неизмеримому, неналично-му сакральному измерению. В действительности, автономное от морали тело необходимо лишь затем, чтобы тут же «подключить» его к властному дискурсу Желания, в котором исполнение потребностей связано с нарушением различных норм и дискурсивных запретов, когда тело сначала необходимо символически «украсть» у нормы-власти, чтобы осуществить свое желание. Но власть возвращается как возмездие, эксплуатируя различные компенсаторные комплексы вины, вписывая знаки власти на чистые страницы тела, встраивая тело в дисциплинирующие дискурсивные практики, описанные в известных работах М. Фуко и Э. Канетти.

В свою очередь критика разума имела несомненную социально-политическую почву и в историческом плане была одной из форм борьбы с классическим либерализмом, идеологией буржуазии, реакцией на ее распространение на общество в целом. Ведь именно после того, как либеральный дискурс стал господствующим, он обрел влиятельных идеологических противников как из повергнутого аристократического класса (консерватизм, традиционализм), так и из отделившегося от него восходящего класса «трудящихся» (социал-демократия, коммунизм). Критика либерального дискурса как ангажированно рационального, как насквозь буржуазного привела к тому, что традиционная рациональная модель научного языка также была подвергнута пересмотру.

Смена модели метаязыка, переинтерпретация природы политического происходит очень редко, как правило, в переломные моменты истории, когда исключение из правила становится более значимым, чем само правило, открывая его неуниверсальность. Стабильность власти, обеспечивающая совпадение «плана содержания» (политическая система) и «плана выражения» (политическая теория), обеспечивает ситуацию познания, где природа политики считается в общих чертах познанной в рамках энкратической модели политического метаязыка. Нестабильная ситуация власти, борьба идеологий и утопий за свою социальную конструкцию политики приводит к множественности точек зрения, стимулирующей движение знания таким образом, что политика выходит за границы прежней властной модели метаязыка, к которой сводилось все старое идеологическое знание, и предстает как потенциальный результат науки, к которому она еще должна прийти благодаря накоплению знания.

В первом случае дискурс власти легитимируется рядом политических сущностей, абсолютизация каждой из которых, так или иначе, сопряжена с оправданием властных интересов. Во втором – суть эта еще не выявлена, сама ее возможность находится под вопросом. А следовательно, эффективная идеология власти еще невозможна. В первом случае мы имеем дело с господством в политической теории энкратического метаязыка, во втором – с попыткой создания альтернативных парадоксально-акратических метаязыков описания политики.

Итак, когда сущность политического оказывается познанной априори, мы имеем дело с властным метаязыком политики, сопрягающим интерес власти с данной сущностью и строящим на ее основании легитимный базис своей правоты и господства. Угрозой для власти предстает возможность «другой» сущности либо указание на противоречие заявленной сущности и некоей эмпирической либо теоретической реальности, разрушающей это основание власти извне. Вследствие этого энкратический метаязык изначально строит систему своей легитимации как самотождественную, непротиворечивую изнутри, с закрытым дискурсом высказываний и специфическим набором правил научной игры, которые не могут противоречить друг другу, следуя общей логике самотождественной Системы, каждый элемент которой легитимируется всей совокупностью других элементов.

Основное направление трансформации политологической методологии связано сегодня с актуальным дискурсом пост-Модерна, представляющим волю к окончательной дегуманизации и де-субъективации политики. Политические теории перестают выводить власть из природы человека. Вслед за животными, которым когда-то приписывалась душа, человек теряет политическую субъектность, перестает даже в теории рассматриваться как рационально мыслящий субъект, способный самостоятельно производить выбор из предложенных альтернатив. Кроме того, выяснилось, как замечает С. Жижек, что ««действительная свобода» означает, что акт действительного изменения... совершается только тогда, когда в ситуации вынужденного выбора человек действует так, как если бы выбор не был вынужденным, и «выбирает невозможное»»¹. Таким образом, подлинный выбор всегда индетерминирован, непредсказуем и потенциально катастрофичен для сложившегося политического порядка и действующего (легального) субъекта власти.

Поэтому структуралисты (М. Фуко, Р. Барт, Ю. Кристева), неомарксисты (Л. Альтюссер) прямо заявили о смерти субъекта

¹ Жижек С. Что может сказать нам Ленин о свободе сегодня? / Пер. с англ. А. Смирнова // Slavoj Zizek. Can Lenin Tell Us About Freedom Today? // Symptom. On-line newspaper. № 1. [WWW – document]. URL <http://www.lacan.com/freedomf.htm>.

или «смерти автора», образ которого ставился Просвещением в центр картины мира, познаваемой и создаваемой этим субъектом¹.

Человек превращается в чистый объект политики, который лишь «подключается» к властному порядку дискурса политической науки.

Соответственно, интерес к его сущности стремительно исчезает. Тот факт, что человек перестал быть центром политики пост-Модерна, подтверждает состояние «имплозии масс» (термин Ж. Бодрийяра), возникшее как следствие разрушения легитимирующего потенциала ключевого либерально-демократического концепта – представительности власти, в связке человек-общество-государство. Власть в условиях политической апатии масс-объекта не связана никакими «человеческими» формами обратной связи: ни корпусом избирателей (выборы, опросы), ни социальными классами (борьба за институацию интересов), ни гражданским обществом (правовые формы диалога с властью).

Если демос как политический субъект дискредитирован, фактически умер, что отражает концепт «имплозии масс», то власть в рамках публичной политики не следует общественному мнению (доксе), но сама его формирует на основании уже принятых решений. С этим связан общий кризис механизмов выборов, представительства, законодательной власти, призванной выражать волю и суверенитет народа, и рост волюнтаризма исполнительной власти, выражающей волю политических элит.

Метапарадигма, легитимировавшая власть через борьбу между тотализирующими идеологическими концепциями политики, больше не работает, так как трансидеологическое состояние реальной политики привело к смерти «великих идеологий». Различные эрзац-термины типа «новые правые» или «новые левые», приставки «нео» или «пост» указывают именно на крах нормообразующего знаково-энкратического метаязыка политики, когда «вчерашние концепты» неспособны верифицировать и легитимировать властно-политическую реальность Постмодерна.

¹ См. напр.: *Барт Р.* Смерть автора // Избранные работы. С. 384-392; *Фуко М.* Что такое автор? // Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. С. 7-47.

Глава II

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТАЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

§ 1. Методологические модели метаязыка политической науки: тавтология, парадокс, нарратив

В этой главе мы предполагаем рассмотреть, как работают три ключевых метаязыка политической науки, особенно в описании такого ключевого политического феномена как власть. И как власть, в свою очередь описанная с помощью того или иного метаязыка, не только проявляет себя, но и влияет на язык своего описания.

Метаязыки рассматриваются нами как набор моделей теоретических языков о политике, для которых реальностью является политическая докса, вырастающая из непосредственного политического опыта, из политики как «системы действия».

Классический доминирующий дискурс в политической науке связан с тавтологическим метаязыком Просвещения. Однако дискурс современной политики старается активно внедряться и в символические (неидеологические) метаязыки. Здесь власть симулирует, вопреки традициям, и символичность, и противоречия, и оппозиционные парадигмы. Псевдосимволичность и противоречия, продуцируемые властью в дискурсе политической науки, укрепляют ее путем определения желаемой картины мира, ее внутренних разбивок на добро/зло, ложь/истину, тождество/различие.

Теоретический анализ политики (власти) в зависимости от модели исследовательского метаязыка может строиться по одной из следующих схем, которые мы выделяем, следуя концепции Н. Лумана¹. Внутри идеологического периода политики можно выделить два ключевых метаязыка политической науки.

¹ Луман Н. Парадокс и тавтология в самоописаниях современного общества // СОЦИО-ЛОГОС. М.: Прогресс, 1991. С. 194-219.

«Нечто есть то, что оно есть»

Структуру тавтологического метаязыка формируют тавтологизация, самоожесточенность и псевдодоказательность как способы самолегитимации власти, подчиняющей политику консервативному коду формализованного права. В рамках этого метаязыка описание политической действительности носит характер объективно развертывающейся реальности перед глазами наблюдателя. Метод описания, понятия, схемы интерпретации результатов не проблематизируются, поскольку исследование осуществляется путем установления эквивалентности слов и вещей универсального языка Просвещения. Тавтологический, «догматический» метаязык связан с принципом идеологии, в трактовке К. Манхейма, и призван методологически легитимировать господствующий в политике дискурс с позиций здравого смысла, доксы, путем ее симуляции. Его практические задачи обычно заключаются в том, чтобы «отбить охоту» у оппозиционных политически значимых сил заниматься критикой и рефлексией «естественного порядка вещей».

Подобной модели политологии, всячески подчеркивающей свою неангажированность и объективную незаинтересованность в ситуации столкновения реальных политических интересов, грозит постоянная опасность превратиться в отчужденную от реальной политики «науку для политологов». Политолог при этом стремится занять позицию профессионально нейтрального эксперта. Эта модель отвергает все «пред-рассудочное» и «до-верительное» как «проклятую сторону вещей» в пользу объективных критериев Разума как рационального рассудка. Этот метаязык исторически связан с «классической эпистемой» науки (М. Фуко).

«Нечто не есть то, что оно есть».

Парадоксализация переворачивает устоявшуюся логику политической доксы и здравого смысла, оставаясь в рамках этой логики. Вывод кода политики из морали и этики. Парадоксальный «критический» метаязык связан с принципом утопии, в трактовке К. Манхейма, т.е. с интересами восходящего субъекта власти и

взрывом сложившегося порядка вещей, который политическая докса привыкла воспринимать как «естественный». Этот метаязык сверхрефлексивен и подозрителен, открывая в самоочевидности «второе дно», «проклятую сторону вещей», когда вдруг становится ясным, что «общепризнанные» ценности являются функциями чьих-то политических интересов. Исследование обычно подразумевает объективацию как методов и инструментов, так и последующую «объективацию объективирующего субъекта», т.е. субъективности самого исследователя.

Критическая модель политической науки ориентирована, прежде всего, на ценности, субъективное, язык, рефлексию, направлена на «надстройку». Эта модель политологии постоянно «взвешивает цену» тех или иных ценностей. Ее целью служит выработка идеала этического ценностно-рационального поведения политического субъекта. Парадоксальный метаязык исторически и методологически связан с социальной и эпистемологической критикой, представленной неомарксизмом, фрейдизмом, ницшеанством, Франкфуртской школой, герменевтикой и т.д.

При таком подходе объективность описания осмысливается как политически ангажированная критика. Политическая наука предстает как знание, вовлеченное в рассматриваемые процессы. Исследователь предстает всегда и как идеолог, один из субъектов политического действия. Отсюда осознание неизбежной вовлеченности (ангажированности) исследователя-идеолога в то, что он описывает, и сознание иллюзорности нейтрального политического наблюдения и автономного познания политики, свободного от выбора ценностей. Применяя любые методы описания, мы уже не можем быть отстраненными от реальности, превращаемся в одного из ее рядовых наблюдателей. Следовательно, политика начинает требовать от теоретика, чтобы он определил свое место в реальном пространстве политики, в котором происходит столкновение реальных политических интересов и позиций. А, соответственно, даже их простое описание не может не быть полемичным.

Особо подчеркивается, что в реальности осмысление методологических основ исследования и поиск контраргументации теории всегда идут параллельно. Здесь действует скорее логика принципа до-

полнительности, нежели синтеза. Самое важное состоит в том, насколько хорошо исследователь сознает свою точку отсчета, тот «идеальный» методологический тип, который он берет за основу своей теории, сознавая при этом все достоинства и недостатки избранного метода. Поэтому в эпистемологическом поле политологии нельзя занять объективной теоретической позиции «над схваткой». Речь может идти только о наивном или намеренном сознании/несознании исследователем своей теоретико-методологической, ценностной ангажированности, которая находится в тесной корреляции с отношением исследователя к власти, в виде ее апологии/оппозиции.

Именно здесь проходит методологический разрыв между «метаязыком власти», легитимирующим власть попытками занятия над- и внеполитической позиции, с его парадигмами, выстроенными по образу и подобию естественных и точных наук, и «метаязыком о власти», где начальным условием политической мысли служит определение той точки в пространстве идеологических координат, из которой будет проистекать голос этой мысли. Здесь политическое знание приобретает амбивалентную форму. Оно мыслится не только как поиск истины, но и как реальный политический инструмент господства. Наоборот, объективирующий и отчуждающий тавтологический метаязык политического исследователя свое место в идеологическом пространстве тщательно скрывает, часто и от самого исследователя, так как представляет собой голос власти.

Обе эти схемы исследований политического, будучи соотнесены с принципами логически вытекающей из них политической практики, легко накладываются на логику идеологии и логику утопии, в том смысле, который придавал им Манхейм. Но есть и третья модель политологического метаязыка, связанная с декларацией «конца политического» как идеологического.

«Нечто есть то, что оно есть, и есть то, что оно не есть, или, иными словами, есть и то и другое, не будучи ни тем, ни другим»

Отсюда вырастает политический метаязык Постмодерна, связанный с мифологической логикой подобия и смежности, нередацируемой к универсальным критериям множественностью соци-

альных миров и адекватных им политических истин, кризисом универсальности классического идеологического метаязыка политической науки.

Интенцией первых двух подходов является ответ на вопрос: «Что такое политика (власть)?» Оба подхода пытаются дать субстанциональное определение феномену власти, т.е. привязать власть к некоему первоначалу и отождествить с ним любое возможное представление о ней. Ответ в форме «власть – это...» собственно и являет собой дискурс власти, попытку путем тавтологии или самокритики создать нормативное представление о себе. Подобный «властный» ответ представляет, на самом деле, описание того, как власть хотела бы выглядеть. Здесь трудно отграничить собственно политическую науку от идеологии как формы осуществления политики. Третий подход по сути своей функционален, интересуясь, прежде всего, вопросом: «Как власть функционирует?» И вопрос подобного рода возникает именно тогда, когда наблюдается фундаментальная исчерпанность легитимирующих власть концепций, а сама власть становится полностью прозрачной и в силу этого неестественной.

Первый – тавтологический метаязык политической науки нацелен на измерение объективного содержания политики, опираясь в массе своей на позитивную, эмпирическую методологию. Объективность знания истины достигается за счет исключения из рассмотрения всего субъективного. В эту область непознаваемого попадают сознание, этика, мораль, культурная традиция, идеалы, символы, ценности. В теории познания наблюдается отождествление критериев необходимого и общезначимого. Само по себе это отождествление идеологично и связано, как показывает К. Манхейм, с утверждением буржуазного дискурса в котором «законными могли считаться лишь те типы познания, которые обращались к тому, что составляет общечеловеческие стороны нашей природы»¹.

В рамках цивилизационной парадигмы западной культуры такое требование еще могло быть уместным. Но процесс актуальной политической «глокализации» показал всю пропасть несходст-

¹ Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. М.: Юрист. С. 143.

ва между разными культурами и идеологическими универсалиями. Оказалось, что не существует универсальных общечеловеческих ценностей, несмотря на то, что культурологические аргументы в политике приобрели невиданную доселе значимость. Поэтому установка на выделение некоего слоя политических ценностей, которые были бы присущи всем людям, вне зависимости от культурных различий, и которые поддавались бы доступной и однозначной для всех интерпретации, формализации, систематизации и квантификации, была, с одной стороны, идеологической иллюзией подобной теории познания, с другой – панкультурным вызовом политической власти, претендующей на глобальность.

К. Манхейм, анализируя онтологические корни такой интеллектуальной позиции, связывает ее, в области теории политики, с позитивистским мировоззрением, присущем становящейся буржуазии. Именно либерализм, ориентированный на универсальные рецепты от имени абстрактного разума, создал современный концепт демократии, «основанный на естественных правах, парламентских институтах, избирательных процессах». Все, что в начале было лишь инструментом борьбы за власть, трансформировалось по достижении власти буржуазией в идеальную модель политики, когда буржуазный либерализм из утопического проекта стал господствующей идеологией, где все споры, в силу ее универсальности, возможны только внутри данного политического дискурса, аксиомы которого не могут подвергаться сомнению.

Второй – парадоксальный метаязык исходит из примата исследования субъективного содержания политики, будучи тесно связан с проблематикой политической философии, этики и герменевтики. Здесь отвергается сама возможность занятия исследовательской позиции всеобщего и внеисторического субъекта. Наоборот, демонстрируется, что истина всегда обусловлена положением субъекта внутри исторического социально-политического пространства: «есть истины, правильные точки зрения, доступные лишь определенному складу ума, определенному типу сообщества или определенной направленности волевых импульсов»¹. Поэтому

¹ *Манхейм К.* Идеология и утопия. С. 143.

субъективно-оценочный элемент политического знания не может быть устранен никогда в принципе. Попытка же скрыть подобную специфику политического знания, определить политическую действительность как пространство действия постоянных и неизменных закономерностей осуществима лишь в состоянии «ложного сознания».

В радикальном варианте парадоксального метаязыка политические теории и парадигмы перестают быть самоценными и достаточными для знания истины, т.е. рассматриваются только как производные от идеологий. Поскольку политическая теория обусловлена в том числе и положением автора внутри социума, этот факт не может не отразиться на принципах ее изложения. Соответственно, изолированное академическое рассмотрение политической теории с точки зрения автономного кода истины, вне связи с политической практикой, оказывается невозможным. Субъективность, габитус автора становится неотъемлемым элементом теории. Более того, содержание научных трудов, при радикальной постановке вопроса, становится определяемым в поисках критической теории даже не самим автором, а теми силами и контекстами, что стоят за ним. Автор превращается лишь в своего рода «камертон» или «медиатор» этих сил. Отсюда и популярные постструктуралистские концепции «смерти» автора как субъекта своего письма.

Подытожить методологическую разницу тавтологического и критического метаязыков, описывающих непосредственно данное политическое бытие, можно с помощью проведения между ними границы, которую в свое время провел К. Манхейм между «наивной» и «критической» теориями познания, исходящими из опыта бытия¹. Первый метаязык догматичен. Он занимается исследованием объективных политических структур, функций, отношений, институтов, т.е. всего того, что поддается объективации и процедурам традиционной научной формализации и верификации. Этот подход наивен в том смысле, что политическое бытие предстает в нем как

¹ Манхейм К. Структурный анализ эпистемологии. Специализированная информация по общеакадемической программе: «Человек, наука, общество: комплексные исследования». М.: ИНИОН РАН, 1992. С. 14-16.

вечное и неизменное, как природа. Отсюда возникают методологические натяжки, связанные с культурологическим универсализмом и аисторизмом.

Второй метаязык – критический, «ангажированный» (букв. «вовлеченный») стремится к интерпретации субъективного содержания политики, поскольку политический смысл принадлежит каким-то структурам и событиям не самим по себе, но приписывается им участниками и наблюдателями. Иными словами, здесь всегда рефлексивируется собственная неизбежная включенность в политические отношения, невозможность нейтральности и отстранения, а следовательно, и беспристрастности. В данном случае ангажированность представляет собой лишь сознание неизбежной субъективности политического исследования, попытки «преодоления» которой в социально-политических науках могут свидетельствовать лишь о «дополнительных задачах» автора, связанных, например, с легитимацией властного дискурса. Политическое поле предстает перед познающим субъектом в парадоксальном метаязыке не «какое есть на самом деле», а прежде всего, как осознаваемое этим субъектом. Причем само «осознавание», наблюдение и измерение теоретическим субъектом познания тех или иных политических объектов, их характеристик и свойств, собственно, их не подтверждает, а именно задает.

Политическая теория – мыслительная «объективация» политики как предмета, фактически представляет собой ее социально-символическое конструирование, перевод из мира вещного в символический мир языка осмысляющего субъекта, т.е. одновременно и «субъективацию» политики. Так или иначе объясняя, интерпретируя политику, мы только впервые «на самом деле» ее и создаем, когда она появляется в пространстве представления политической теории. Метаязык, в свою очередь, одновременно «объективирует» уже саму политическую теорию и субъективирует ее, отвечая на вопросы «как» и «почему именно таким образом» определенная политическая теория (политический субъект) интерпретирует политику.

Измерение-описание фиксирует объект в его данности, которая вовсе не предшествует теоретически измерению как неизмен-

ная, но на самом деле только и задается в его ходе. Перенос акцента познания с аксиомы о неизменном объекте на метод описания открывает множественность, многомерность и альтернативность политических миров, конструируемых исследователями в ходе фиксации и интерпретации своих наблюдений.

Наоборот, внеценностные, нерелективные, бессубъектные теории связаны с принципами тавтологического метаязыка политики. Они исходят из императива формальной универсальности политической теории, а не ценностных основ социокультурной матрицы символов и смыслов данного политико-исторического сообщества. В конечном итоге, они провоцируют мыслительную ситуацию, когда политические теории перестают выводить политические отношения из культурного означаемого **данного** общества. Соответственно, данное общество онтологически приобретает исключительный или патологический характер, который не может быть основанием нормальной/нормативной политической теории.

Прескрипционность объективистских политологических работ направлена на завоевание собственного символического капитала в идейном пространстве политики (власти), на поддержание научного статуса политической науки в реестре общепризнанных, ведь «наука – это то, что преподается»¹. Однако то, что преподается, должно быть бесспорным и свободным от сомнений, т.е. надежно установленным. Поэтому в отечественной политологии популярен «наивный» объективистский подход, стремящийся очертить устойчивое, неизменное поле политики и соответствующий ему круг политических истин, закрепить свое эксклюзивное право на анализ политического среза реальности, как право на трансляцию научного знания о нем.

Построение, по крайней мере внешне непротиворечивой системы политического знания, ведет к крену в сторону фактов и явлений, удовлетворяющих критериям объективной верификации при игнорировании субъективного (идеального) содержания политики, предполагающего возможности альтернативных интерпретации. Однако нахождение основания познания, которое позволило

¹ Барт Р. От науки к литературе // Избранные работы. С. 375.

бы объединить в своей структуре объективное и субъективное, представляется практически невозможным, а предлагаемые решения – неудовлетворительными¹.

Тавтологический метаязык политической науки имеет дело только с отчужденными, наличными структурами политики и историческими формами, в которых она воплощается вовне и с которыми, в конечном счете, отождествляется. Однако, на наш взгляд, политика, во-первых, не всегда тождественна тем структурам, институтам, функциям, посредством которых ее определяют, во-вторых, политика имманентна собственным проявлениям, которые не всегда улавливаются объективными структурами, распределением формальных полномочий, должностями и структурированными институциональными взаимодействиями. Объективистский подход, связанный с описанием фактов и объектов, не способен уловить политические коннотации, иногда в корне меняющие смысл политического факта.

Тавтологический дискурс являет собой, прежде всего, саморепрезентацию власти в политической науке. Но детерминированность властью становится очевидной лишь тогда, когда объективный политический дискурс сам становится предметом исследования другого дискурса.

В то же время критическое (парадоксальное) опровержение главных принципов тотального и непротиворечивого дискурса знания-власти изнутри – невозможно, а дискредитация извне этот дискурс просто элиминирует. Таким образом, эпистемологический маятник от формализации к интерпретации не останавливается никогда, так как выражает фундаментальную политико-методологическую дилемму в основании политической науки.

Отсюда следует закономерный вывод о том, что средством преодоления методологических издержек знакового метаязыка является переориентация политической науки с тавтологического метаязыка на критическую рефлексию и сознание субъекта, т.е. все те основания, из которых вырастает аутентичный данному социо-

¹ См. напр.: *Соловьев А.И.* Политическая идеология: логика исторической эволюции // ПОЛИС. 2001. № 2. С. 8-23.

культурному полю и рефлексивно его описывающий, критический по своей структуре метаязык.

Выясняя условия самой возможности политической власти, тавтологический метаязык политической науки «опредмечивает» власть, т.е. имеет дело с властью как данностью, наличием, предметом, что предполагает рассмотрение уже имеющихся политических форм. Политический субъект здесь становится, с одной стороны, властным, следуя структуре власти, заложенной в тавтологическом метаязыке, с другой – он в то же время превращается в объект власти языковой структуры, проговаривающей свое содержание через него, так как язык никогда не принадлежит полностью тому, кто его использует.

Парадоксальный метаязык, наоборот, «дематериализует» политику, стремится выявить власть в виде концептуальной матрицы, которая организует политическое поле и как реальность, систему действия, и как пространство теоретических представлений.

Таким образом, из описанных выше структурных аксиом познания следует взаимосвязь между «самоочевидностью» политических истин и тавтологическим метаязыком, с одной стороны, и корреляция между непознаваемостью и «герметичностью» политики и критическим метаязыком – с другой.

Тавтологический метаязык

Тавтологический метаязык исторически лежит в основе всего проекта современной политической науки. Он методологически обусловлен приходом политики в идеологическое состояние, связанное с распадом традиционного общества и появлением конкурирующих за власть социальных групп, классов, элит и масс и т.д. В Европе этот процесс был связан с Реформацией, Просвещением и восхождением к власти буржуазии. Сегодня глобализированный политический процесс модернизации тесно переплетается с политическим дискурсом евроцентризма, «панлогизмом» и констатацией «конца истории».

Проблема генезиса и построения тавтологического метаязыка связана с тем, как и с помощью каких идеологем легитимируется

политическая власть на определенном историческом этапе. Когда Платон или Аристотель устанавливают законы «политического общения» в исторических или идеальных политических общностях, они еще не задаются вопросом о сущности власти. Власть выступает как атрибут или свойство общественной организации, совокупность правил, система должностей, порядок их формирования, распределения или замещения. Власть еще не отчуждается от конкретных людей, как что-то субстанциональное, стоящее за конкретными субъектами. Власть могла легитимироваться народом или богом, но она еще не рассматривалась отдельно как таковая, безотносительно к своим означаемым формам. Власть здесь еще не отчуждена от субъекта: вождь, тиран, чиновник, патриарх, глава семьи, более того, она составляет собой его атрибут, естественное свойство властвовать. В органическом обществе – аграрном или сословном – вопросы власти сводятся к техническим вопросам, так как власть дана слишком явно, т.е. ее естественность обеспечена всем мироустройством общества, всей целостностью его традиций, ценностей, представлений. Таким образом, власть рассматривается как свойство политического субъекта, характер которого во многом определяем политическим режимом.

Действительной и необходимой проблема оправдания власти через код научной истины стала в период буржуазных революций, в процессе перехода политического состояния общества от традиционного (религиозного) к секулярному, гражданскому (идеологическому). Важнейшим моментом стал раскол традиционного общества на антагонистические классы, каждый из которых обладает своей интерпретацией политики, справедливости, общества, политических ценностей, целей, социального блага, приписываемой обществу в целом.

Смена традиционного общества капиталистическим, буржуазные революции, утверждение ценностей и норм Просвещения впервые так отчетливо показали, **как** политическая власть осуществляется изнутри, как работают ее механизмы и сколь они важны в условиях их холостого хода, т.е. в тот исторический момент, когда старые структуры сломаны, а новой субстанциональности и легитимности власти еще не возникло. Конкуренция разных моде-

лей политических метаязыков и стоящих за ними социальных сил, замещение и вытеснение одних форм оправдания власти другими только и могли обозначить «изнанку» власти. Отсюда же берут начало просвещенческие трактаты о роли власти в различных системах политического устройства (с указанием на идеальный строй), археологии «естественных состояний» и роли власти в их «цивильном» преобразении – как позитивной (Гоббс), так и негативной (Локк, Руссо), рассуждения о «духе народов» и способах его политического воплощения (Монтескье) и т. д.

Идеологии, производные от тавтологического метаязыка политики, возникают в связи с автономизацией политического поля от трансцендентного универсума моральных ценностей. Впервые такую ситуацию описал в своих «политических руководствах» Н. Макиавелли. Затем ее воспроизводили в своих работах сторонники «естественного договора» (Гоббс, Локк, Руссо). Здесь впервые легитимируется вывод социально-политического устройства общества не из сакрального (божественного) порядка, характерного для традиционного общества, а из природного (биологического), т.е. нового «естественного» социального порядка. Разница между биологическим миром природы и культурным миром общества стирается в позитивном ключе: культура описывается как продолжение природы, а природа (доксический концепт «естественности») служит основанием легитимности, «подгоняется» под сложившееся политическое состояние.

В наиболее радикальном виде эта теоретическая установка разрабатывалась идеологами нового властного класса – буржуазии. Ее интерпретация политики представлена мальтузианством, социал-дарвинистами и либертаристами, хотя впервые человека как «политическое животное» определял еще Аристотель. Здесь приветствуется перенос естественных законов природы на общество и политику. Подобный «естественнонаучный» подход в политической науке, где парадигмы описания общества и человека заимствуются в парадигмах и моделях естественных и точных наук, которые «ближе к природе»: физики, механики, биологии, экономики, – является следствием того, что тавтологический ме-

таязык является метаязыком, претендующим на объективность и неизменность.

Тавтологичность политического дискурса состоит в производстве описывающих политическое поле теорий как вырастающих из самой природы вещей, таких, какие они есть «на самом деле». Тавтологический метаязык представляет себя следствием, простым упорядочением и систематизацией самоочевидных, док-сических вещей-фактов, которые докса (общественное мнение) воспринимает впоследствии как естественные, а не наоборот. Хотя действительная причинно-следственная цепочка обратна: господствующая политическая идеология детерминирует доксу. Построение, по крайней мере, логически непротиворечивой системы политического знания ведет здесь к крену в сторону фактов и явлений, удовлетворяющих критериям объективной верификации при игнорировании субъективного (идеального) содержания политики, требующего неподвластной объективным наукам интерпретации и верификации.

Политика в данном случае понималась, прежде всего, как механизм обеспечения частной свободы, часто отождествляемой с обеспечением политических прав гражданина вообще. Первоначально идея свободы вышла на первый план в негативном виде, как отрицание аристократических устоев, как свобода от Ancien regime с его четкой сословной иерархией, наследственной легитимностью власти и закрепленной сеткой социальных ролей с практически отсутствующей горизонтальной и вертикальной социальной мобильностью. Момент, когда сословная структура сломана, а классовая еще не устоялась, породил утопическую социальную иллюзию равенства в свободе, «в гражданском обществе», позже разрушенную различного рода политическими цензами: буржуазия уже не нуждалась в политических союзниках.

Проект Просвещения изменил культурную матрицу власти. Политика пришла в идеологическую фазу, где парадигма легитимности власти опирается уже не на порядок божественного, но на порядок рационального, а сущность рационального заключалась в науке. Либерализм, позитивизм, демократия, естественные права, гражданское общество, конкуренция – легитимирующие новый

буржуазный порядок понятия, разрабатываемые Локком, Гоббсом, Руссо, Кантом, а позже Спенсером, Контом, Мальтусом, Дарвином, стали ничем иным, как основаниями новой парадигмы политической науки и новой модели энкратического метаязыка.

Но главный вклад в тавтологическую, уходящую корнями в Просвещение теорию власти внесли Энциклопедисты, разработавшие модель универсального научного метаязыка, отождествляющего в структуре знака слова и вещи. Этот метаязык представляет собой не просто новый принцип вывода научной истины. Он не оставляет места для спора и диалога, он тотален и непротиворечив, внутри него не может быть места для сомнений, а то, что проговаривается помимо него, – не соответствует новым требованиям научной познаваемости, относится к области «научно непознаваемого».

Это метаязык универсальных таблиц, классификаций, систем, структур и моделей. Нормативная методология заимствуется в естественных науках (физика, биология, археология), а позже и в точных (математика, экономика, кибернетика, теория систем). Этот язык исчерпывает политическое бытие. После него больше нечего сказать, поскольку все классифицировано и расставлено по своим местам. Возражение ему является бунтом против самого здравого смысла. То есть структура тавтологического метаязыка отождествляется со структурой научного суждения как такового. Аксиомы и логика любых альтернативных рассуждений изначально классифицируются как «вненаучные». Природа человека больше не является загадкой и определяется тем, что человек является носителем разума как критерия истины. Причем разум, в свою очередь, отождествляется с моделью здравого смысла буржуазии и «универсальной» логикой капитала.

Главной сверхзадачей, стоявшей перед исследователями, было получение объективной политической истины. Для сохранения объективности предлагалось устранить субъективность сознания, что достигалось путем изучения реального через рациональное (логика тождественного) без всяких отсылок к трансцендентному (мораль, ценности, традиции), не предполагающего никаких критериев своей объективной верификации. Следовательно, для получения объективного знания о политике требовалось изучать политические

явления как вещи, которые Кант называл феноменами, отбросив любые метафизические основания и моральные ценности. Критериями истины были объявлены самоочевидность и эмпирическая проверяемость. Максимальное отстранение политологов от политической реальности, дабы не дать повода к обвинению в политической ангажированности, привело к оперированию предельно абстрактными моделями политического. Отсюда их предельная упрощенность и обобщенность в стремлении к универсальности формализованных, нормативно-классификаторских схем, отождествляемых с политической действительностью. Следовательно, чем больше возможных случаев и явлений укладывается в схему, тем она объективней, ближе к истине.

Итак, что же можно познавать объективно? Тавтологический метаязык доказывает, что не сознание, не абсолют и не ценности. В основе метода лежит обычно отождествление природных законов и законов социальных. В итоге получается, что измерить, пронаблюдать и объективно оценить мы можем лишь внешние формы активности человека: слова, поступки, реакции и т.д. Судить о мыслях, чувствах и ценностях человека научно (объективно) можно только опосредованно, т.е. по их доступным наблюдению проявлениям. Попытки работать с сознанием напрямую расцениваются здесь как изначально ненаучные: субъективные и не соответствующие критерию достоверности.

Подобные аисторические схемы тавтологического метаязыка, удовлетворительно описывающие политическую действительность, в качестве главного допущения выдвигают ее стабильность, неизменность, детерминированность и предсказуемость. Таким образом, предлагаемые модели вольно или невольно начинают играть на руку сложившимся ценностям и господствующим политическим идеологиям, консервируя статус кво власти. Дело в том, что, изначально заявляя в качестве аксиомы познания «свободу от ценностей», тавтологическая модель метаязыка тем самым лишь воспринимает доминирующую систему политических ценностей как естественную, настолько прозрачно-очевидную, что ее как бы и не существует, как и самой проблемы ценностного выбора, и ангажиро-

ванности политического знания. Именно опора на преобладающую систему ценностей позволяет не замечать ценностей вообще. Поэтому тавтологический метаязык описания объективно является описанием общества с точки зрения властного субъекта, элиты.

По той же причине для тавтологического метаязыка характерно отождествление политики и управления, как функции действующей исполнительной власти. Поэтому энкратические политические теории объективно подчинены коду власти. Из их методологических принципов вытекает лояльность и оправдание действующей политической власти, сложившихся систем ценностей, а также неспособность выйти за ее пределы, даже для сравнительного анализа, поскольку последний предполагает изначально отвергнутые ценностные оценки. Данные теории практически неспособны выполнять прогностическую функцию, так как не принимают в расчет влияния, изменения и развитие, т.е. историческую динамику политической системы, которая предстает лишь как смена статических картин и состояний, причины которой остаются загадочными. Таким образом, мы имеем дело с тавтологическим метаязыком власти в политической науке, который Г. Маркузе очень точно охарактеризовал как «герметизацию универсума политического дискурса»¹.

Поясним стиль мышления и методологию тавтологического метаязыка политической науки на примере ее ключевого субъект-объекта – власти. Возникающие на почве приведенных выше принципов концепции власти укладываются, как правило, в рамки одного из двух подходов: реляционного или системного.

Реляционный подход рассматривает власть как отношение, обычно асимметричное, двух и более субъектов, как правило, в форме обмена. Обмен в свою очередь предполагает наличие властных ресурсов. Степень их контроля субъектами может быть разной: владение, распределение, управление, влияние и т.п. Согласно этому подходу власть возникает в ходе превращения ресурсов власти во властное влияние, собственно эта трансформация и является властью. Иными словами, качественное определение власти здесь отсутствует, поскольку власть сама по себе представляет, как и

¹ Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.

сознание, «черный ящик», судить о содержании которого мы можем лишь по объективным проявлениям, в данном случае – переходу ресурсов во влияние и результатам этого влияния. Поэтому количественные определения власти отражают власть не саму по себе, но опосредованно, через явления, феномены и условия власти, где признаком последней служит характер тех или иных действий субъектов (взаимодействий), та или иная ситуация, процесс или трансформация, например, одного ресурса в другой, неизменным условием исполнимости которого служит власть.

Системные теории видят власть как свойство или элемент некой структуры надындивидуального, коллективного характера, выполняющий интегративную функцию. Здесь власть предстает уже как свойство самой системности. И налицо противостояние, с одной стороны, бихевиористского номинализма, в духе которого выдержаны реляционные концепции, с другой – структурно-функционального холизма системных теорий, провозглашающего приоритет и доминирование общественных структур и функций над отдельными индивидами, чья совокупная деятельность и составляет их содержание.

Иными словами, власть социальна, она атрибут общества, а не составляющих его индивидов, в руках которых она может оказаться лишь опосредованно, с санкции общества. Социальный характер власти выступает как необходимое условие ее легитимации. Власть отождествляется с наличными историческими формами и структурами, в которых она дана здесь и сейчас. Таким образом, получается уже не кибернетическая, но системная статическая картина властного распределения. Обе властные стратегии познания пытаются с помощью формализованного подхода, оперирующего универсальными знаками, придать статус вечности историческому модусу власти через сведение власти вообще к имманентной политической действительности.

Схемы и концепции, иллюстрирующие власть, оказываются помимо воли их создателей пронизаны властью: с одной стороны, действующей властью, заключающей в них свои интересы и ценности, с другой – властью как стремлением установить контроль над действительностью через монополию представления о ней,

связывающую это представление с объективной действительностью посредством структуры знака. Здесь знание-власть обращается в непримиримость к истине «инога», когда дух научности сменяется идеологией, связанной уже не с отстаиванием определенной системы ценностей в пространстве субъективных точек зрения, но с ее навязыванием в качестве единственно возможной объективности политического представления. Так власть проговаривает себя в теории власти.

Типичный образец подобного властного анализа предлагает В.Г. Ледяев¹, который, следуя традиции Р. Даля, определяет власть как «способность субъекта обеспечить подчинение объекта в соответствии со своими намерениями»². Власть, по мнению исследователя, предстает как один из видов каузальной связи, существующий только в человеческом обществе. Животные и неодушевленные предметы не могут рассматриваться ни как объекты, ни как субъекты власти, являющейся атрибутом и отличительной чертой человека в его отношении к другим людям, их сознанию и поведению. Власть также всегда осознана, персонифицирована (в отличие от влияния), направлена на кого-то. При этом результат властного воздействия ограничен подчинением объекта воле субъекта.

Сетую на то, что в трудах, посвященных анализу власти, она превращается в нечто аморфное и неопределенное, Ледяев пишет, что «власть» стала практически неотличимой от «влияния», «принуждения», «управления», «силы», «господства», «авторитета», «контроля», «дисциплины» и др. Между тем «перечисленные понятия призваны отражать различные формы социальных связей и виды зависимости человека от тех или иных общественных факторов – других людей, правовых и моральных норм, обстоятельств, идеологической среды и т. д.»³. Иными словами, власть превращается в какой-то абстрактный концепт, отражающий столь общее субъект-объектное отношение, что оно, фактически, вопреки воле автора, подразумевает все те синони-

¹ Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // ПОЛИС, 2000. № 1-2.

² Там же. № 1. С. 106.

³ Там же. С. 97.

мы, которые он столь упорно пытается исключить. В конце концов, сам автор вынужден признать, что «авторитет, манипуляция, принуждение и некоторые способы воздействия субъекта на объект, ведущие к подчинению последнего воле субъекта, должны рассматриваться как **формы власти**»¹.

Первоначально в области политической теории господствовал именно тавтологический метаязык, основанный на методологии «классической эпистемы» Просвещения. Здесь еще нет конкуренции элит, сама элита как единственный значимый теоретический субъект познания монолитна, а движения внутри нее не угрожают публичным открытием неких скрытых властных механизмов. Политика еще не пришла в «классовое» состояние, оставаясь внутренним делом элиты. Поэтому не было и речи о том, что такое власть, как она функционирует, – все эти вопросы были очевидны в пределах здравого смысла, т.е. слишком ясны, слишком легальны, чтобы стать проблемой. Власть полностью отождествлялась со своими наличными структурами. Поэтому единственным вопросом о власти мог быть вопрос о том, как сделать функционирование данной власти еще более эффективным. При этом проблематизация означающих форм власти, идеологии была своего рода табу. Причем умолчание было отнюдь не запретительным. Слишком едино было видение политики и матрица принципиальных ценностей, чтобы политические споры о них могли выйти на принципиальный уровень.

Критический (парадоксальный) метаязык политической науки

Его появление связано с изменением взгляда на политику в целом. Катализаторами стали: резкое изменение социальной структуры, типов коммуникации и связей, массовизация общества, глобализация-локализация политики, эффективность иррационально-символической легитимации политики: фашизм, нацизм, коммунизм и современная практика демократического популизма. Не могло остаться незамеченным нарастающее влияние на политику

¹ *Ледяев В.Г.* Власть: концептуальный анализ. С. 106-107.

таких факторов, как, например, развитие электронных СМИ. Политика перестает казаться управлением как внутренним делом элиты, действующей по заданному рациональному стереотипу. Осознается исторический характер этих стереотипов. Политика предстает как бюрократизированный процесс, осью которого становится вариативность деятельности, возможность изменения правил игры и установления новых идеологием. Политика становится игрой с открытым финалом. С другой стороны, политика как столкновение различных социальных сил и интересов и не может, по определению, стать управляемой полностью, поскольку, и это хорошо иллюстрирует марксистская логика, окончательная победа одной из сил одновременно является и концом политики в подобной трактовке, концом политического.

Априорные аксиологические предпосылки парадоксального метаязыка состоят в том, что политическая наука и теоретическая критика всегда ангажированы и только в силу этого – истинны (действительны). Иными словами, значимый теоретически субъект (автор) не существует без действующего политически значимого субъекта, с позиций которого он осуществляет рефлексию ценностей, политического поля, идеалов и т.д. Это может быть как социальный слой, класс, народ, так и единичный властный субъект, но с делегированными полномочиями от коллективного субъекта, которого он представляет в рамках теорий общественного договора, народного суверенитета, классовой теории и т.п.

Критические теории политики основаны на различении репродуцирующего действия в рамках сложившейся политической системы и деятельности, изменяющей саму систему и в силу этого внеположной ей. В ходе такой деятельности частное не всегда дедуцируется к всеобщему, а осознание противоречия теории и практики реализуется путем бунта против существующих стереотипов управления, создания новой политической теории и новой реальности. В качестве предпосылки такого мышления выступил именно либерализм, легитимировавший законность «частного» в виде свободы индивидуального мышления¹.

¹ Манхейм К. Идеология и утопия. С. 100-101.

Однако позже эта возможность оборачивается против самого либерализма, уже как идеологии господствующего класса. Например, используя парадоксально-критический метаязык, С. Жижек пишет: «Либерализм... натурализует основания для подчинения [власти] во внутренней психологической структуре субъекта... парадокс в том, что “либеральные” субъекты в известном смысле наименее свободны: они изменяют мнение о себе самих, принимая то, что навязывается им как порождение их «природы», – они даже перестают сознавать, что подчиняются»¹. То есть либеральная модель господства и политического доминирования предстает в таких разоблачениях как наиболее эффективная и тоталитарная, так как в ее логике политический субъект воспринимает интроецированный приказ как собственное решение, а свобода переходит в свою противоположность, в зависимость субъекта от необходимости продемонстрировать свою свободу и спонтанность.

Следуя своим «внутренним велениям», «свободе выбора», «истинной природе», «спонтанным желаниям», «творческим позывам», либеральный субъект даже не осознает, насколько глубока его зависимость, воспринимая ее действительно как апелляцию к своей свободе, идентичности, правам и т.п. Более того, обретение своей субъектности связано здесь с невозможным для тавтологического дискурса ходом: способностью отказа от «своей», но, на самом деле, не-собственной, прескриптивной свободы, права, идентичности, идеологии и т.д. То есть действительно подлинный выбор связан не с «выбором в очерченных идеологических координатах», а с «выбором самих координат», непредсказуемостью выбора, сломом «объективностей».

Главным легитимирующим концептом критического метаязыка является апология освобождения. Иногда освобождение представляется как реализация идей социальной справедливости. Освобождение человека трактуется как приобретение независимости от всевозможных импульсов и обусловленностей интересами власти, закрепощающей его свободу, например, как освобождение «жизненного мира» от всепроникающих импульсов «системы», от тотализи-

¹ Жижек С. Указ. соч.

рующей структуры коммуникативных систем (Ю. Хабермас). С этической точки зрения власть предстает здесь в негативном ключе, как принцип Зла. В превращенном виде критический метаязык основан на религиозной идее спасения, переинтерпретированной Просвещением в рамках автономного секулярного политического поля в идею свободы (эмансипации), которая связана уже с вполне посторонними общественными интересами, ценностями и институциями.

В условиях «развитого капитализма» оказалось, что проект Просвещения вовсе не так гуманен и справедлив, как казалось в условиях монополии Буржуазии на политические истины, как единственного значимого политического субъекта. Поэтому главной задачей идеологических антагонистов буржуазии становится восстановление психической, языковой, социальной, идеологической целостности вне-властных политических субъектов, преодоление ими самоотчуждения, осознания своих «истинных» интересов и ценностей, от которых они были отвлечены тавтологическим метаязыком политической науки.

Теория познания в критической теории черпается, прежде всего, в различных версиях психоанализа (К.Г. Юнг, Ж. Лакан и др.), структурализма (Р. Барт, К. Леви-Стросс, М. Фуко и др.) и неомарксизма (К. Манхейм, Э. Фромм, Л. Альтюссер, С. Жижек, П. Бурдьё и др.), приобретая иногда и такие причудливые формы, как например, «теология освобождения». Важной составной частью критической теории является традиция тотального маргинального критицизма, идущая от Ницше. Определенную структурирующую роль в оформлении критического метаязыка политической науки сыграли негативная диалектика Т. Адорно, М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, переходящая из тотальной критики в чистое отрицание Просвещения, породившего тупиковую ветвь культурного развития в виде Капитализма. Основным недостатком негативной диалектики состоял в том, что она не имела «позитивной программы», программы действия. Негативная диалектика не нашла и политического субъекта, который мог бы эту программу действия реализовать.

Фундаментальной аксиомой критической теории является своего рода логика проекта о «золотом веке» в виде сохранения

идеи о возможности исправления и восстановления извращенно реализованного «просветительского проекта» политики. Поэтому каркас принципиальных просветительских идей, сущность Просвещения напрямую критикой не затрагивается. Причем в качестве вариантов «золотого века» может выступать не только «исправленное» Просвещение, но и Античность, «доцивилизационное состояние», концепт культуры а la О. Шпеглер, «советский проект», «евразийские проект» и т.п.

Речь идет лишь о привнесении большей степени справедливости, гуманизма, свободы, демократии и т.п., т.е. о количествах и мерах, не затрагивающих сущность модернизируемого проекта. Основные мыслительные концепты политической науки приобретают творческую вариативность. Актуализируется проблема методологической пропасти между субъективной истиной толкования и объективируемой истиной объяснения, с ее требованиями всеобщности и жесткими критериями верификации или, в негативе, фальсификации.

Критический метаязык политики проявляет и разоблачает «скрываемое» тавтологическим метаязыком положение дел, состоящее в том, что любой политологический метаязык и связанный с ним политический субъект, устанавливаемые как должные, самоочевидные, объективные являются, на самом деле, результатом борьбы метарациональных социальных сил. При этом каждый метаязык есть социально обусловленный язык, который отождествляет себя с политическим мышлением вообще, как только «случайно» теряется его связь с социальным субъектом и историческим контекстом. В качестве примера такого универсального императивного идеологического метаязыка и основного объекта критики выступает, прежде всего, исторический метаязык Буржуазии и капитала¹. Именно этот язык претендует на всеобщность в глобализирующемся мире, игнорируя все «вторичные», т.е. национальные, культурные, религиозные, исторические, различия.

Таким образом, в критической теории политическая истина перестает быть всеобщей даже в перспективе. Это всегда уже **чья-**

¹ Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М., 1983. С. 334-349

то истина. Вообще любая претензия на всеобщность отныне становится подозрительной. Поэтому «критика идеологий», связанная с парадоксальным метаязыком, может быть направлена на выявление общего блага, справедливости в политическом сообществе в целом, но только с точки зрения того или иного социально-политического субъекта, с последующим поиском механизмов социального согласия (консенсуса) по поводу смыслов, лежащих в основании общественных коммуникаций: экономических, этических, правовых.

Одновременно парадоксальный дискурс вскрывает властные (частные и относительные) политические интересы, которые препятствуют установлению общественного согласия, подчиняя себе политические смыслы и коммуникационные каналы их трансляции. Политическая истина в этом ключе может быть достигнута только согласием внутри коммуникативного политического сообщества относительно истины высказываний, которая связана с условием «смысловой определенности языка», достигаемого «трансцендентальным единством интерпретации»¹.

В рамках критического метаязыка доказывается, что любая из общественных функций, связанных с обращением политических символов: обучение, координация, легитимация – несет в себе интегрирующую функцию политической индоктринации. Даже парадигмы политических теорий выступают лишь как производные от идеологий. Поэтому политическое единство общества не может быть идеологическим, поскольку идеология всегда неполна и хотя бы отчасти неистинна, так как связана с социально-классовым интересом, даже если претендует на звание «государственной». Условие достижения подобного единства скорее связано с тем, что могло бы объединить общество в целом, например, некая политическая этика или научный код истины, освобожденный от влияния политической власти.

Пафос политических манифестаций критических исследований состоит в том, что борьба идеологий идет за самый последний

¹ *Соболева М.Е.* Возможна ли метафизика в эпоху постмодерна? К концепции трансцендентального прагматизма Карла Отто Апеля. // Вопросы философии, 2002. № 7. С. 144.

оплот человека – его внутреннюю свободу, то личностное пространство, где человек может стать и оставаться самим собой. Сегодня это личностное пространство все активнее захватывается с помощью различных методик интродекции властных импульсов. Основной задачей выступает разоблачение политической логики власти, обнаружение ее корыстного замысла, той подоплеки, которая скрывается за публичным действием. Т.е. анализ того, благодаря чему политическое действие становится властным и каким образом осуществляется политическое господство.

В этом ключе, например, Р. Барт определяет власть как культурное принуждение, которое гнездится в механизмах социального обмена, проникая повсюду, регулируя и корректируя общественную жизнь с помощью далеких от политики моделей практик. Политика «растворяется» в социальном пространстве, становится не локализуемой и, в то же время, находящейся повсюду, тотальной. Воплощением политики становится не только государство, классы, партии и группы, но также и «мода, расхожие мнения, зрелища, игры, спорт, средства информации, семейные и частные отношения»¹. Соответственно возрастает значимость способов репрезентации политики, ее семантико-символическая составляющая. Растет и значимость метаязыка: господство над видением политики (означающим) признается уже более эффективным, чем господство над самой реальностью (означаемым).

Политика выходит за рамки традиционного политического поля или же, в другой интерпретации, само политическое поле распространяется на культуру в целом. Политика и власть усматривается везде и во всем. Анализ эстетики кино (С. Зонтаг), стилей архитектуры (Э. Канетти о Шпееере), классической литературы (Р. Барт), примитивных обществ (К. Леви-Стросс), медицины, тюрьмы и сумасшедшего дома (М. Фуко) – вдруг оборачивается в то же время и властно – политическим анализом (если не диагнозом) современности.

Соответственно, власть как объект исследования зачастую получает свои ключевые характеристики в далеких от формальной политики сферах и лишь затем, когда требуемый результат уже по-

¹ *Барт. Р.* Избранные работы. С. 547.

лучен, эти оценки, схемы и идеологемы переносятся и захватывают традиционную область политики. Универсальность и повсеместность власти накладывается на уникальное многообразие ее проявлений. Власть интерпретируется как распределение, иерархия, структура, влияние, «отсроченность смерти» (Ж. Бодрийяр), в экономике как капитал, в науке как истина, отождествляемая с объективностью, в религии как вечность (бесконечное), в мифе как чудо и т.д.

В целом, восприятие политического через «критику идеологий» наиболее полно реализуется когнитивистскими, психологическими, социологическими теориями, в которых главную роль играет политический субъект со свойственными ему особенностями восприятия, опыта, наблюдения, логики умозаключений и т.д. Облики власти приобретают междисциплинарную гетерогенность: власть может описываться как коммуникативная стратегия, как различные имманентные своим областям техники управления, как асимметричная модель языка, как доминирование в политическом поле в иерархических, темпоральных, топологических категориях и т.д.

Еще один поворот связан с тем, что любые политические теории и парадигмы перестают быть самоценными и самодостаточными для знания политической истины. Автономизация кода политической науки от реальной политики оказывается недостаточной, а зачастую просто ложной.

Власть анализируется как доминирующий код, стоящий за теориями и парадигмами. Поскольку политическое знание «властно», то оказывается невозможным занять нейтрально-объективную познавательную позицию в политической науке, исходя из которой можно было бы высказывать неангажированные суждения, касающиеся в том числе и самого субъекта высказывания. Утверждения о наличии такой позиции свидетельствуют лишь о том, что весь ее содержательный дискурс будет, в таком случае, ложным от начала до конца. Отождествление с разного рода объективностями и всеобщностями – государством, народом, нацией (национальная идея) является приемом объективизации господствующей идеологии. Однако последняя, обращаясь в «национальный интерес», вовсе не теряет своей ложности и ангажированности в процессе маскировки своего субъекта, своей де-субъективации.

Взаимосвязь систем культурных кодов знания и власти сосредоточивается в «дискурсе» автора, который автору полностью не принадлежит, но который обретает «голос» посредством автора. Таким образом, происходит одновременный процесс «демонизации» власти как чего-то потустороннего, не свойственного или даже противного природе человека, и «дегуманизации» политики, как вычеркивания человека в качестве политического субъекта.

Исключив потребность в конечном субъекте, к которому восходит политика, критический метаязык «рассыпает» феномен власти на ряды коммуникативных актов, только в ходе которых власть как проявляется, так и исчезает. У Э. Канетти и Ж. Бодрийяра власть даже рождается самим состоянием неопределенности, различия и двусмысленности. Определенным и простым, по мнению исследователей, может быть только насилие, но не власть, восходящая в своем пределе к состоянию между жизнью и смертью, к временной, искусственно созданной ситуации отсрочки последней. Инстанция власти живет тем, что шантажирует, угрожает фатальным тому, на кого она направлена.

Парадокс состоит в том, что реальное осуществление приговора, властного приказа, означает, одновременно, и конец страха, и, вместе с ним, конец самого властного шантажа. Поэтому готовность к смерти, присущая героям, фанатикам, террористам, несет радикальное освобождение от власти. Власть можно удостоверить лишь в состоянии разрыва, состоянии неэквивалентности, в других условиях власть не существует. По Ж. Бодрийяру, на этом основана любая форма, любой институт власти: «Церковь живет отсроченной вечностью, государство – отсроченным общественным состоянием, революционные партии – отсроченной революцией, и все они в итоге живут смертью»¹.

Имманентизация и профанизация власти, обнажение критической политической теорией структур политического бытия, в которых запечатлевается власть, направлены именно на демонстрацию не-мыслимости такой позиции, которая смогла бы полностью захватить саму истину сущего политики (власти) в политической

¹ *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 57.

науке. Легитимация власти – это лишь набор социально значимых версий, каждая из которых истинна для своего субъекта. Приоритет рациональных концепций политики опровергается именно на основании их ментальной репрессивности, принуждения к всеобщности. Т.е. подобная постановка вопроса, даже если и является близкой истине, в силу методологической установки на тождественное отвергает саму возможность увидеть «иное», истину Другого. Здесь важнее сама установка исследователя на потенциальный полилог, допущение методологического плюрализма как нормальной ситуации познания.

Исторически важное различие тавтологического метаязыка и метаязыка критического состоит в том, что доминирование первого связано с периодами политической стабильности – «малой политикой», когда, собственно, политика является прерогативой и «внутренним делом» властной элиты, а политическая теория направлена на апологию сложившегося политического порядка, в то время как второй получает шанс реализоваться в периоды социально-политических трансформаций, в условиях «большой политики», захватывающей все общество целиком.

В условиях «малой политики» как репродуцирующего политического механизма, направленного на воспроизводство существующего порядка вещей, реален лишь один значимый политический субъект – действующая власть. Здесь область политики и стратегия власти связаны не столько с воспроизводством социально-политической апатии и социальной аномией, «акратизацией» не-властных политических субъектов, сколько с оставлением в политике только структурных субъектов (должностных, ранговых), которые ее и определяют. Т.е. политика становится «закрытой» для масс. Роль «неэлиты» сводится лишь к формальным процедурам одобрения и легитимации уже принятых решений.

«Большая политика», связанная с принципом утопии, реализуется тогда, когда возможно реальное столкновение интересов и перспектив политически значимых субъектов и, соответственно, теоретико-политологических концепций, концептуализирующих, систематизирующих и легитимирующих сознание этих субъектов на ценностном уровне.

В условиях «малой политики» у критического метаязыка отсутствует политический субъект, интересы и перспективу которого он мог бы выражать. Поэтому он может выжить и функционировать лишь в форме социальной критики, в форме поиска потенциального субъекта как альтернативы субъекту власти в ситуации идеологического статус-кво.

Критический метаязык принадлежит политически значимым субъектам в период «большой политики», когда только и возникают действительно оппозиционные власти политические субъекты. В период «малой политики» господствует тавтологический метаязык. Он представляет воспроизводство исторически сложившегося идеологического статус-кво, «естественных» привычек политического мышления. Критический метаязык и его политический субъект в этот период латентны, они вне-Нормы. Критический метаязык характеризуется с точки зрения Нормы как перверсия, патология, «объект умолчания и исключения», «проклятая сторона вещей», взрывающая своей актуализацией властное политическое равновесие. Столкновения политических перспектив в «малой политике» отсутствует, а есть лишь механизм вытеснения «идейно-политической и социальной патологии» как не-Нормы за пределы нормативного политического пространства ценностей.

Основной манипулятивный прием тавтологического метаязыка «малой политики», формой которого выступает позитивизм, заключается в переводе ценностного конфликта, столкновения социальных перспектив в область «голых», т.е. объективных фактов, во внутренний план своей эпистемологической аксиомы. Принятие подобных правил уже является поражением, свидетельствующим об отсутствии ценностного конфликта субъективных перспектив, поскольку спор идет уже не о ценностях, предшествующих и детерминирующих факты, но о самих фактах как «голых», моделях их безусловного и окончательного объяснения. Спор превращается в выяснение отношений Нормы – правильного восприятия объективных фактов и не-Нормы – ложного восприятия и интерпретации очевидных фактов.

Изначальная проблема, состоящая в том, что политические факты всегда являются опосредованными чьим-то видением, цен-

ностями, интересами, просто умалчивается. Принятие политического факта как объективной данности свидетельствует о вольном или невольном априорном согласии всех оппонентов с господствующей политической перспективой, выражаемой тавтологическим метаязыком политики.

В заключение, в качестве актуальной тенденции внутри критического метаязыка можно отметить нарастающую важность выработки «глобального» масштаба критического метаязыка, связанную с кризисом «великих идеологий», догматической интерпретацией политического как идеологического. Транс-идеологизация политики вынесла в центр политического дискурса концепции особенного и различий, своего рода «проклятую сторону вещей», затушевываемую ранее в силу универсальности дискурса идеологии, как бинарного кода: Норма/не-Норма.

Основания глобальной политической критики уже не связаны с политической ситуацией на Западе, Западом как политической нормой и носят многосоставный характер. Их объединение происходит, прежде всего, через сам объект критики, а не в силу сходств этих оснований. Собственно политическая наука в современном виде и возникает как критика идеологии, рефлексия над конфликтующими идеологическими ценностями. Основная проблема, определяющая критический метаязык, заключается не в том, что латентно этические по своей природе рассуждения о «всеобщем благе» происходят в свободном от морали интеллектуальном поле, где эта свобода представляется необходимым условием превращения политологии в позитивную науку.

Проблема в том, что универсальная научная истина может существовать лишь в условиях общепризнанного критерия (шкалы) политических ценностей как таковых. Такая шкала была предложена историческим проектом Просвещения и Модерном и находится сегодня в кризисе, описываемом различными постмодернистскими, глобалистскими, постструктуралистскими парадигмами. Актуальное состояние и мыслительная ситуация политики пост-Модерна связаны с девальвацией универсальной шкалы политических ценностей Просвещения и Модерна.

Внутри исторического периода Просвещения и Модерна бинарные оппозиции политической мысли, предложенные в данной работе, можно обобщить в следующей сводной таблице

Политическая наука	
Акратический метаязык	Энкратический метаязык
Утопия (критика «статус кво»)	Идеология (апология «статус кво»)
Пара-доксальность (противоречивость)	Доксичность (тавтология и)
Ангажированность ученого-наблюдателя	Отстраненность ученого-наблюдателя
Субъективность (сконструированность, вторичность) социальных фактов и теорий	Объективность (естественность) социальных фактов и теорий
Анти-норма (маргинальность)	Норма
«Организмизм» (культуроцентризм)	«Панлогизм»
Ориентация на гуманитарную методологию	Ориентация на естественнонаучную методологию
Диалогичность (коммуникативность)	Монологичность (некоммуникативность)
Холизм (коллективизм)	Индивидуализм
«Реализм»	«Номинализм»
Тотализм	Анархия
Приоритет прошлого-будущего времени	Господство настоящего времени
«Общественный долг»	«Личная выгода»
Конфликтность (классовость) общества	Единство (бесклассовость) гражданского общества

Символический (пост-идеологический) метаязык политической науки

Отправной точкой здесь служит утверждение о том, что концепт Просвещения полностью воплотился в современности в виде последнего тотального культурного стиля – Модерна. Сегодня же постепенно вырисовываются контуры состояния преодоленности Модерна.

С другой стороны, в условиях делегитимации Модерна оказывается неэффективным и недостаточно радикальным критический метаязык, действенный в пределах идеологической политики. Он разбивается об «имплозию» новых политических масс, о пост-демократическое безразличие и индифферентность, в которые вырождаются демократические требования компромисса и толерант-

ности. Кроме того, информационное общество перестает репрезентировать себя в системе координат традиционных идеологических понятий, которыми продолжает оперировать критическая теория. Наконец, с выходом политики в трансидеологическое пространство представления из политического поля исчезают структурировавшие его идеологические антагонисты с их противоречиями по принципиальным вопросам. Поэтому социально-политической критике не на кого опереться. Она просто не находит ни реального социального субъекта опоры, ни конкретного адресата. Политика утрачивает свое реальное измерение, свое означаемое.

Политический метаязык пост-Модерна исходит из аксиомы, что политическая реальность уже трансформировалась, но «вчерашние» теоретические конструкты продолжают неэффективно и ложно описывать ее с позиций идеологического Модерна. Новая теория, призванная охватить в своих категориях актуальную реальность политики, еще не кристаллизовалась, но лишь формируется, т.е. не говорит о сущностях и рецептах, но лишь описывает тенденции, в условиях отсутствия в политической науке доминирующего метаязыка. Причем попытки поставить диагноз эпохе оказываются, как правило, неутешительными, наполненными меланхолично-пессимистическими утверждениями о необратимости и катастрофичности процесса преодоления Модерна.

Если критическая теория еще верила в обратимость такого хода вещей, в новый прорыв к Реальному, то исследователи, прописывающие контуры «New Age», такие как Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, Г. Дебор, Ф. Жемисон и др., наоборот, утверждают предопределенность и окончательность наступления точки невозврата к веку «великих идеологий». Процессы трансидеологизации и виртуализации размывают идеологический стержень политики как зависимость политической теории от порядка Реального. Во-первых, одни и те же понятия начинают использоваться псевдоидеологическими антагонистами, во-вторых, легитимируя власть, они все более становятся «символами веры», оторванными от политической реальности, когда функциональные и процедурные признаки превращаются в ценностные – демократия, рынок, институты избирательного права, свобода выбора и т.д. Все эти тенден-

ции свидетельствует о системном кризисе структуры идеологии как краеугольного камня, лежавшего в основании политической власти в современных национальных государствах.

Наращение «не-естественности» идеологий как усиливающегося зазора между словами и вещами, идеологическим дискурсом и политической реальностью имело важное значение. Недоверие к истинам, которые обосновываются всеобщими тотальными метаповествованиями, роль которых в политике играли «великие идеологии», подорвало, прежде всего, их роль гарантов легитимности данного политического порядка. Как пишет Р. Рорти, «эти метаповествования имеют всегда одну цель — поддержать легитимность определенных форм социального устройства, действительных или воображаемых, и соответствующих им норм поведения (не имеет значения, в обязательной «привязанности» к сообществу или с допущением «отстранения»). Они отличны от нарративов, повествующих об истории формирования отдельных сообществ, дающих представление об их случайности и неустойчивости и предлагающих возможные сценарии их дальнейших, не прогнозируемых с метадискурсивной точностью, трансформаций»¹.

Идеологический, по своей сущности, Модерн пытается выжить, адаптируясь к изменениям, но при этом он перерождается так, что ключевые его ценности вдруг оборачиваются своей противоположностью. Наступает ситуация «послежития», симуляции достижения давно достигнутых целей. Полностью завершенная институционально-нормативная воплощенность либерально-демократических ценностей ведет в данном случае к симуляции, замене целей функциями, когда трансцендируются сами процедуры, технологии и признаки политики Модерна, призванные ее оправдывать: трансцендируется воля народа, освящается процесс голосования, давно достигнутая демократия вновь становится целью, идеалом. Поэтому проблема «свободы для» меняется на проблему «свободы зачем».

Иными словами, политический субъект освобожден. Концепты свободы, прав человека, гражданского общества, частной собст-

¹ Рорти Р. Постмодернистский буржуазный либерализм // ЛОГОС. 1999. № 9. С. 96-104.

венности и т.п. – реализованы. Что еще власть может предложить как свою сверхзадачу, миссию, основание своей легитимности? Предпринимается попытка обоснования свободы как самоцели, как абсолютного и самодостаточного блага. То же происходит с избирательным правом, понятием представительности власти и т.п. Состояние реализованности свободы – «пост-свобода» исчерпывает легитимность дискурса освобождения во всех его референциях: политических, экономических, психологических.

Возникает этическая проблема: что делать со свободой, когда она еще/уже не политический идеал (традиционная теория) и даже не средство, инструмент установления социальной справедливости (критическая теория), а всего лишь обесмысленный член бессмертной бинарной оппозиции: свобода-угнетение, выражающей принцип власти в любых как институциональных, так и мыслительных структурах. Следовательно, восстановление смысла политики логически связано с возрождением принципа угнетения, хотя бы в регистре политического воображаемого, путем его теоретического гипостазирования, материализации «принципа Зла», чем, собственно, и занят сегодня пост-Модернистский Запад, легитимирующий свою политическую истину в глобальном политическом масштабе.

Когда критиковать развитое общество потребления изнутри, как достигшее номинального торжества политической свободы и социальной справедливости, становится уже практически не за что, критическая теория умирает, т.е. становится виртуальной и устремляется вовне, отрываясь от системной рефлексии и анализа собственных социальных условий существования. И здесь, как замечает Н. Плотников: «На смену критике приходит миссионерство»¹. Критическая теория встраивается в господствующий институциональный дискурс политики и уже не может отстраниться от него, т.е. затронуть критикой социальный порядок и политическую власть в целом.

В области политической науки критическая теория была связана с судьбой доминирующей модели политической рацио-

¹ Плотников Н. Критическая теория отдыхает // ЛОГОС. 2001. № 2. С. 76-80.

нальности, лежащей в основе всего «идеологического» политологического проекта. В условиях Модерна трансцендентные основания политической власти были надежно закреплены за концептами разума и истории. Общество интерпретировалось как организованный макросубъект, реально существующая целостная «универсалия», которая организует политические функции и практики. Такая ситуация эффективно описывалась системно-функциональным анализом.

Однако актуальная логика пост-Модерна ставит под вопрос рациональную логику целостности, стабильного функционирования социально-политических механизмов, обеспечиваемую организационной инстанцией Общества (Государства). Идея функционально-холистского единства политического со-Общества, механизмом обеспечения которого служит политическая власть (субъект-элита), уже не кажется столь очевидной. Отсюда растрата ключевого «символического капитала-власти», а именно «права номинации» (термин П. Бурдьё), т.е. права «называть вещи своими именами» и принимать окончательные политические решения от своего имени, которым обладало общество-государство и которое скрепляло как концепты политической науки, так и всю структуру социально-политической реальности.

Сначала было поставлено под сомнение право номинации Общества (Государства) как такового, потом составляющих его групп и классов. Так священное право номинации от имени высшей духовной инстанции профаннизировалось в гипотетический условный договор отдельных индивидов. Версия легитимности власти, таким образом, идейно мельчает. Если раньше она выводилась из общественной необходимости, то теперь стала функцией обеспечения индивидуального комфорта. В рамках подобной тенденции имплозия масс, неучастие в политике является вполне закономерным итогом субъективной трансформации для индивида этической политики как долга в политику как индивидуальное право, например, голосовать/не-голосовать.

Роль государства как стержневого субъекта политики разрушается, и, с другой стороны – в процессе глобализации транснационализация политики ведет к переосмыслению и переструктура-

ции привычного политического пространства, оформлявшегося ранее вокруг стержня государственного (национального) интереса.

В содержательном плане символический метаязык политической науки, как это ни парадоксально, наоборот, деуниверсализирует политику. В глобальном политическом контексте, как давно отметил С. Хантингтон¹, цивилизационные противоречия и культурноцентричные политические концепты действительно вышли на первый план, в то время как универсальные идеологические концепты, политические идеи «для всего человечества»: коммунизм, либерализм, демократия, рынок, капитал – отошли в тень.

Выйдя на глобальный уровень, политическое пространство власти трансформируется, резко приобретая конечность, граничность, имманентность. Бесконечный и всеобщий прогресс, так же как и единство целей, – отменяются. Ценностная матрица политики и апологетика власти даются теперь человеку не через идеологическую призму, но через определенную постановку глобальных вопросов, обуславливающую способ их решения в рамках глобального политического пространства: экологический вопрос, энергетическая проблема, проблема перенаселения, проблема голода, разрыв Север-Юг и т.п.

Перспективы парадигмы символического метаязыка политической науки будут формироваться вокруг возможностей, представляемых политической теории антагонистом политического метаязыка Просвещения, метаязыком, в основе которого будет лежать возрожденная логика мифа, опирающаяся на принцип и структуру символа. Делегитимация Разума и восстановление на законных политических ролях подавленных и вытесняемых им прежде мыслительных структур вовсе не означает воскрешения архаических структур политического мышления. Миф (нарратив) – это, в первую очередь, метод, способ описания и познания политической действительности, ее закрепления в пространстве представления политической теории.

В рамках символического метаязыка речь идет о том, что актуальный дискурс политики уже не идеологичен. В политическом

¹ Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // ПОЛИС. 1994. № 1.

дискурсе говорится не о справедливости, свободе, демократии, социальном но, прежде всего, об эффективности, консенсусе, технологии, распределении и других десубъективированных понятиях. Власть исчезает как реальность, как тело, как означаемое. При этом власть уже не нуждается в том, чтобы **что-то делать**, доказывать свою субъектность, свою реальность. Теперь достаточно удостоверить массы в том, что власть вообще **есть**, однако легитимирующая власть логика поступка и решения, взывающая к образам героики, основанной на авторитете и чуде, постепенно отмирает. «Следует, конечно, быть номиналистом: власть – это не некий институт или структура, не какая-то определенная сила, которой некто был бы наделен: это имя, которое дают сложной стратегической ситуации в данном обществе»¹.

Итак, символический метаязык политики связан с разрушением идеологического строя политики. «Модернистские антагонистические противоречия и дистинкции, структурировавшие мышление и поведение человека индустриальной эпохи, утрачивают эпистемологическую определенность и категоричность, растворяясь в новом метаполитическом дискурсе легитимации — дискурсе, легитимирующем все подряд»².

Иными словами, от выстраивания сеток иерархий и структур классификаций, от иерархического принципа дифференциации власть переходит к новому культурному механизму господства — стратегии культурной индифферентности. Тактика знания-власти состоит теперь в том, чтобы **извлекать и выделять** из общего объема культурного хаоса сообщений (знаков) желательное и необходимое. Артикуляция и маркировка желательного осуществляется властью в публичном пространстве политики.

В идейно-теоретическом пространстве политической науки классовое общество целенаправленно трансформируется в массовое, бессубъектное, внутренние границы стираются, наукообразные идеологии уступают место мифогенным мыслительным структу-

¹ Фуко М. Воля к истине. С.193.

² Джохадзе И. Массовое общество и демократический тоталитаризм: свобода без выбора // ЛОГОС. 2001. № 5-6. С. 40.

рам. Если идеологии считали себя выразителями отчетливо стратифицированных социальных групп, то мифы стремятся завоевать общество в целом. Для этого им необходима репрезентация общества как массы, настройка массового сознания «на одну волну». Общество в пространстве политического представления из «таблицы» превращается в «калейдоскоп»: возможно любое сочетание, любые комбинации, нет ни иерархий, ни социальной идиосинкразии.

Вместе с тем нельзя не отметить, что и органическая, и гражданская, и массовая метафоры общества, подчеркивающие его целостность, неделимость, неконфликтность, единство, принадлежат тавтологическому метаязыку. Эти метафоры и системы понятий являются репрезентациями общества с точки зрения элиты, которая не хочет замечать конфликтную природу общества, его классовые противоречия, столкновение интересов и т.п.

«Незамечание» четко очерченного круга социальных носителей той или иной модели политического метаязыка ведет к тому, что пост-модернистский политический метаязык перестает быть идеологическим: он становится анонимным языком. Можно было бы сказать, что это метаязык масс, но современные политические массы не являются полноправными субъектами своего языка. Они не имеют языка в том смысле, что не могут вступать в коммуникацию, в диалог как условие обладания языком. Массы могут только **воспроизводить язык**.

На месте четко стратифицированных исторических, социально-политических общностей, действующих в логике групповых интересов, сохраняющих исторически устойчивое единство образа жизни, взглядов, целей и ценностей («габитус» П. Бурдьё), возникают концепты «гибридной», смешанной идентичности, концепты «среднего слоя», «общества потребления», «информационного общества», «общества двух третей», призванных теоретически маскировать, заговаривать реальный конфликтный характер капиталистического общества. Помимо этого, иррациональные категории – воля, судьба, «срединная земля» претендуют на статус научных категорий, вытесняя уже в свою очередь рациональное как политическое «иное». Манипулятивная риторика, коннотативная семантика, визуальные коды оказываются более эффективными, чем рациональный дискурс убеждения.

Информационное общество создает иррациональную избыточность и интенсификацию обращения политических идей, теорий, символов. Избыточность и скорость оборота культурных символов такова, что человек начинает страдать «ментальным безразличием», душевной апатией, когда никакая критика, никакие призывы уже не задевают и не удивляют. На первый план в символическом метаязыке выходят качества анонимности власти, нелокализуемость, способность добиваться желаемого, не прибегая к внешним формам принуждения (манипуляция), самоуверенность. Таким образом, происходит преодоление субъект-объектных теорий власти: власть не нуждается в материальном носителе, так как она снова только имя, только миф.

Символический метаязык рассматривает не реальность политики, но ее репрезентацию. Ведется анализ историко-генетических символов и смыслов, благодаря которым образуется некое «поле власти». Цель анализа состоит не в установлении природы конечного продукта – власти. Исследовательский интерес направлен на саму технологию производства политического поля, создаваемую ей ткань символов-ссылок, отсылающих друг к другу в своей смысловой расположенности. Структуралистский текст власти, функционирующий как точный слепок реальности, реальность «второго порядка», превращается в «гипертекст», который сам себе служит алиби. Реверсия смысла состоит в том, что «гипертекст» превращается в законодателя реальности, причем потребность в этой реальности становится все слабее. Принцип реальности как принцип содержания, означаемого утрачивает сначала свою фундаментальность, а затем и автономию, статус легитимирующей инстанции любых идеологем. Апелляция к реальности уже не «последний аргумент». Означающие формы, принцип выражения – приобретают приоритет. Содержание, наоборот, становится подчиненным.

При этом умножение смыслов в расслоившемся постмодернистском дискурсе не ведет к пониманию и умножению содержания. Отсюда растущий зазор между здравым смыслом Просвещения и аналитическим языком «Нового века». Здесь, может быть, впервые осознается как катастрофический тот факт, что развитие современной цивилизации в сторону потребления, информатиза-

ции, глобализации усиливает репрессивный политический нажим на человека вместо желанного освобождения. Иными словами, чем больше культурного содержания: традиций, исторического опыта, национальных идей, языков пытается слиться в нечто интернационально-глобальное, тем больше возникает внутренних границ, умолчаний, ограничений, противоречий и идиосинкразий. Всеобщее освобождение легко превращается в частные подавления, сумма которых только увеличивается, а властный контроль только усиливается. Клинический диагноз этой тенденции дает анализ глобалистского политического метаязыка: его расслоение на «внутренний» и «внешний», двойные стандарты, термины-эвфемизмы, рост иносказательности, множасьи запреты на словоупотребления – «политкорректность» и т.д.

Если критическая теория еще стремится вычлениить в дискурсе политической науки метаязык власти, показать, как он исполняется и становится самим собой, то посткритическая – охлаждает тягу к самому жанру разоблачения. Именно за тягу к разоблачению власти Ж. Бодрийяр¹ упрекает М. Фуко, который, описывая и разоблачая различные дискурсы и практики власти, тем самым ее воскрешает. То есть описание власти как раз и взывает к ней, магически порождая субъекта власти. Традиционные формы сопротивления власти: диссидентство, критика, политологический анализ, неповиновение – превращаются в информационном обществе в способы и инстанции ее воспроизводства. Но как только заканчивается поток означающих форм, описывающих власть, кончается и сама власть, как исчезает отражение в зеркале, в которое никто не заглядывает. Власть как категория, как имя становится пустым, так как тем самым намеренно прерывается связь имени с референтом. В состоянии Постмодерна терпит крах и психоаналитическая риторика освобождения, восстановления утраченной целостности субъекта и преодоления отчуждения – целей, оформлявших контекст критических теорий как политического дискурса борьбы с властью.

Разрушается и конвенциональный знаковый метаязык, так как перестает существовать базовый договор о значениях и смыс-

¹ Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000.

лах политического дискурса, разделяемый в качестве границ (условий) политической игры всеми идеологическими антагонистами. Значения понятий становятся проблематичными. Полисемия, исторически отражающая борьбу различных политических дискурсов за власть над смыслами, возрастает настолько, что уничтожает сам смысл. Политический язык становится символическим в том смысле, что логика договора меняется на мифологическую логику смежности, метафоричности, вещественности. Контекст детерминирует текст, ситуация – значение и т.д.

Таким образом, здравый смысл уступает место мифу. Конкретное и частное еще может осмысляться рационально и логично. Но как только происходит выход на уровень тенденций, общих картин – ситуация невольно иррационализируется. Сознание неспециалиста неспособно самостоятельно справиться с объемами политической информации, оно ищет и находит логику взаимосвязи событий и их оценки, но эта логика всегда чужая и заимствованная, присвоенная и интроецированная. Власть исходит от метода отбора, власть реализуется как принцип информационного сита. Власть заключается в самом принципе интерпретации. Как только контекст, время, ситуация меняются, то же содержание (денотат) становится искусственным, абсурдным, ложным.

В первую очередь, постидеологическая политика начинает перебирать свои пошатнувшиеся референты: мифологические, религиозные, экономические, сексуальные, политические. Трансцендируя и последовательно разочаровываясь в референтах реального, ни один из которых не смог стать основанием конечной истины, знание-власть, исчерпав их содержание, выходит за пределы реального и начинает присутствовать везде и нигде. То есть любой дискурс потенциально может стать дискурсом власти.

Впервые подобную ситуацию мышления уловил М. Фуко в своем понимании власти: «Под властью, мне кажется, следует понимать прежде всего множественность отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются, и которые конститутивны для ее организации; понимать игру, которая путем беспрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует; понимать опоры, которые эти отношения силы на-

ходят друг в друге таким образом, что образуется цепь или система, или, напротив, понимать смещения и противоречия, которые их друг от друга обособляют; наконец, под властью следует понимать стратегии, внутри которых эти отношения силы достигают своей действенности, стратегии, общий абрис или же институциональная кристаллизация которых воплощаются в государственных аппаратах, в формулировании закона, в формах социального господства»¹.

Здесь власть если и совпадает с некими референтами полностью, если и представляется субстанционально, то лишь задним числом. Власть исходит отовсюду и проникает везде, так как производится имманентно всеми теми референтами (не только политическими), в пространстве которых ее обнаруживают. По мысли М. Фуко, власть всегда имманентна области своего производства, которое может быть представлено и политикой, и системой образования, и семьей и т.д. Но лишь ретроспективным теоретическим образом власть рефлексивно разделяется на субъект и объект и выносится во внешнее отношение к тем вещам, референтам, **на** которые, а не **посредством** которых она начинает действовать в пространстве научного представления **о власти**. Имманентность власти свидетельствует, что она находится внутри и вокруг нас, а не как нечто целостное объективированное вне нас, что нужно поддерживать или чему нужно сопротивляться. Освобождение власть не побеждает, а угнетение власть не манифестирует. И то, и другое лишь исполняют власть. Политическая или научная революция, социально-экономические скачки, смена парадигмы – это, одновременно, способ производства, освобождения и смены метаязыка политики, связанный с трансформацией ее референтов и дискурсов. Критика власти полезна лишь тем, что она приоткрывает сущность власти, но вместе с тем поддерживает дискурс власти, воскрешая власть в тех референтах, которые власть уже выработала и покинула. Однако только задним числом и возможно целостное развертывание исторического полотна власти. Власти, которой уже нет, по крайней мере, там, где ее ищут.

¹ Фуко М. Воля к знанию. С.192.

Символическая власть уже не нацелена на подавление неподконтрольных ей дискурсов в отличие от классического дискурса власти как управления от имени здравого смысла и рациональных ценностей. Ее стратегия направлена на овладение и включение в собственное символическое пространство истин всех оппозиционных дискурсов, истины «иногo» – безумие, секс, язык, маргинальные субкультуры, литература и т.д. Цель состоит в переработке и присвоении знаков «иногo» в пространстве дифференциации, перемещении «иногo» во внутренний порядок власти, привязке символов «иногo» к символам власти.

Альтернативные дискурсы не изолируются, а, наоборот, включаются в поле власти в своих дозированных «иммунных» вариациях, как дополнения к норме, как ее расширение, а не болезнетворная патология, которую нужно уничтожить. В итоге власть перехватывает инициативу и осуществляется уже не в логике запрета, но посредством дискурса пользы, целесообразности, удовольствия.

Политика (власть), исчерпав к концу XX века свою идеологическую форму дискурса, вышла в «трансполитическое», символическое пространство. Это пространство характеризуется, прежде всего, безразличием ко всем тем различиям, размежеваниям и запретам, с помощью которых реализовывались идеологические дискурсы политики. Сформировав либерально-демократическую политическую модель, реализовав свой утопический потенциал, классические идеологии потеряли те различия онтологического и теоретического плана, благодаря которым шло их становление. Принципиальной стала сама идеологическая неразличимость идейных стратегий в рамках сложившегося политического консенсуса, которая привела к кризису идеологического порядка политики: нет запретов, цели достигнуты, противоречия разрешены. Тотальное освобождение разрушило все те цели и запреты, благодаря которым происходила легитимация власти и различение идеологий. Власть освободилась, таким образом, и от освободителей. В идеологическом дискурсе у власти остается даже не игра референтами, а игра только знаками референтов. В угоду политкорректности стираются любые различия, без которых невозможен ни обмен, ни диалог, ни взаимодействие. Знаки, артикули-

рующие политическое пространство, стали плавающими, контекстными, деидеологизированными.

Когда с политического означаемого (реальности) стираются идеологические знаки, оно становится анонимным и с него уже не так просто считывать дискурсы власти, как это делал М. Фуко. Тело (референт), освобожденное от закрепляемых за ним отличий, вместе с тем освобождается и для игры знаков и масок, которые могут быть ему приписаны. Любое определение и любая сущность рискуют оказаться очередной маской, «симулякром». Поэтому общество в состоянии пост-Модерна, несмотря на всю интенсивность своих внешних обновлений, постоянную «смену интерфейса» рискует оказаться в ситуации отмены исторического времени, мифологического застоя.

Власть, организованная средствами символического кода, как никогда раньше способна контролировать процессы общественных изменений, предупреждать собственные альтернативы отрицания, гасить еще не вспыхнувшие возмущения, симулировать «гражданские» резонансы и т.п. В этом и заключается проблема пассивности и бессубъектности «гражданского общества», отрезанного от возможности формулировать для «закрытой» правящей элиты сколь-нибудь значимые политические альтернативы, с которыми власть не может не считаться. С этим же связана и слабость проекта гражданского общества. Людям все меньше «есть что сказать друг другу», в том что касается их общей судьбы. Скрепки интересубъективного пространства политики в виде гражданского общества, нации, государства, партий, профсоюзов и т.п. – растворяются в подсознании масс и перестают быть реальной силой, значимыми смысловыми ориентирами атомизированной политической реальности.

§ 2. «Лингвистический поворот» политической науки: от идеологии к нарративу

«Лингвистический поворот» обусловлен не внутренней логикой самостоятельного развития политической науки, но общей ситуацией методологического кризиса гуманитарных, общественных наук. Суть этого кризиса заключена в отказе от поиска универсаль-

ной, всеобщей модели метаязыка научного описания и переходе от монопарадигмальности к мультипарадигмальности как нормальному состоянию мышления и ситуации познания в политической науке. Речь идет, фактически, о том, что классическая наука играет только в строгую денотативную языковую игру, где релевантность устанавливается по критерию: истина/ложь. Согласие ученых относительно подобного аксиоматичного кода позволяет ему эффективно функционировать. Однако подобное трансцендентальное согласие оказывается недостаточным, когда речь идет о привилегированности этого языка в отношении других форм языковых игр, где релевантность и правила игры определяются совершенно другими кодами и правилами. В качестве примера можно назвать перформативную (нарративную) языковую игру, релевантность которой определяет код верю/не-верю, прескриптивную (нормативную) – справедливо/несправедливо, властную – эффективно/неэффективно. Классическая научная денотативная игра нелегитимна в других, автономных языковых играх¹.

Когда, в отсутствие привилегированной Нормы, сталкиваются равные антагонистические модели социального конструирования, одинаково «научные» методологические аппараты интерпретации и оценки политики, актуализируется интерес к метаязыку как метаструктуре, с помощью которой можно сравнить сами парадигмы. «Лингвистический поворот» политической науки – это осмысление собственного метаязыка, который до того не был ни объектом, ни методологической проблемой. Он связан с дискредитацией идеологико-утопических схем объяснения политики путем отсылки к тому или иному политическому «реальному» как универсальному.

Методологически «лингвистический поворот» связан с тенденцией перехода политического знания как знаковой системы от идеологической к нарративной форме.

В нарративной модели социальных наук легитимирующий метарассказ, отсылающий к чему-то запредельному, трансцендентному, вытесняет «просто рассказ», когда язык из описывающего и

¹ См. подр.: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние Постмодерна. С.112.

отсылающего к чему-то вовне себя становится перформативным, самоподтверждающим. Здесь намечается переориентировка проблем и интересов исследователей с «внешнего» на «внутренний» метаязык политической науки, с описания объекта на самоописание субъекта. Вдруг осознается, что метаязык не является нейтральным средством познания реальности, но, наоборот, он политическую реальность конструирует, подчиняясь воле того, кто владеет языком. Производство значений, теорий оказывается, одновременно, и способом производства новой социополитической реальности. Выясняется, что изменить мир проще всего изменив язык его описания.

Прозрачность языка научного описания в позитивистской формализованной картине мира, с которой он полностью совпадал, стала исчезать. Язык стал отслаиваться от этой реальности, как непрозрачное тело, обладающее собственной оптикой, своим углом преломления политической истины. Отсюда происходит структурный кризис знаково-формализованного метаязыка, где истиной является тождество означающего-означаемого, и открытие жизненного мира политики, который всегда шире границ любой модели метаязыка. Акцент в познании переносится с объекта на субъект: становится интересной не конечная истина о политическом объекте, но то, как он конструируется в представлении. С жесткой сциентистской моделью позитивизма начинает конкурировать антисциентистская герменевтика, с ее контекстуальностью и релятивизмом, связанная с критикой знаковых теоретических систем мышления, автономизацией означающих и т.д.

Доминирующий метаязык политической науки всегда является метаязыком власти, легитимирующей себя через научную истину. Однако исторические принципы построения этого метаязыка весьма подвижны и относительны. Поэтому власть нуждается в контроле за технологией метаязыка своего описания, превращении его в **орудие** властвования.

Нетрудно заметить, что тавтологический, энкратический метаязык сводит денотативную= классическую научную модель языка к властной (технической) модели, где релевантность определяется уже не критерием истина/ложь, а критерием эффектив-

но/неэффективно. Соответственно, критерием истины служит оптимальность. Критический, акратический метаязык, наоборот, исходит из аксиомы, согласно которой социальные науки не могут играть только в денотативную языковую игру, с критерием релевантности истина/ложь. Поскольку социальные, политические факты субъективны, т.е. зависимы от того, как их интерпретирует субъект, то, следовательно, социально-политические науки ведут двойную языковую игру с двойной релевантностью. Вторая игра – прескриптивная, этическая, зависящая от критерия справедливо/несправедливо.

Важнейшей тенденцией эволюции власти в актуальное время является переход от структурной идеологии как основания властных легитимаций, функционировавшего в логике знака, к нарративу, т.е. символическим обоснованиям, которые обращаются, в первую очередь, к средствам языка как такового, языка как означающей системы.

Актуальность «лингвистического поворота» политической науки обусловлена общим поворотом социального знания к языку, когда теоретическая оппозиция сознание-бытие фактически вытесняется парадигмой языка-реальности. Причем меняется сама постановка вопроса: не «что» первично, но «как» взаимодействуют нетождественные друг другу метаязыковые модели и политическая реальность. Язык является частью реальности, а реальность является частью языка, что обуславливает их взаимную детерминацию и возможность изучать одно через другое. Предпочтение при этом, особенно в рамках структуралистского и постструктуралистского подходов, отдается языку, а реальность становится потенциальным текстом. Чтение этого текста с помощью различных исследовательских методов, соответственно, определяет различия в образе реальности, стоящей за ним. С одной стороны, доминирование текста как очевидной и нерушимой целостности подчиняет читателя, с другой – фрагментация (деконструкция) этого текста, обнаружение швов и «белых ниток» связано с оппозицией тексту и скрепляющим его ценностно-методологическим принципам.

Конечные вопросы познания не сводятся ни к классическому примату субъекта, ни к примату объекта. На первый план выходит

даже не проблема истинного соотношения элементов этой бинарной оппозиции, но методологическая сущность языка описания, который опосредует и соотносится с обоими элементами оппозиции. Таким образом, проблема языка описания выходит на первый план, а ее решение предопределяет и образ реальности, и роль познающего субъекта.

Непосредственное обращение к политической реальности, анализу ее форм и структур аналогично неподготовленному чтению. Метаязык, связанный с методом интерпретации, может гораздо ближе подойти к сущности власти, изучая «как» описывается власть в политической теории, помещая эти теории в различные методологические, исторические, социальные контексты.

Иными словами, интересен не сам текст политики, а то, как, кем и с помощью каких средств он пишется или был написан, не окончательный вариант, но черновик. Здесь естественная «чистовая» картина политики вдруг обнаруживает свою «сделанность» с исторического наброска, вариативность которого проступает как тайнопись между строк, контуры, заретушированные властной современностью, ретроспективно переосмыслившей историю в своих интересах.

Соответственно, эффективный акратический метаязык описания опирается на интерпретативные возможности символа, в то время как наиболее эффективной моделью метаязыка власти, предупреждающей ее разоблачение и делегитимацию, выступает знаково-нормативная модель языка. Последняя скрывает свою историчность и онтологические корни путем создания статической, самостождественной картины фиксированного, неподвижного мира, где язык и реальность, сознание и бытие слитны.

Лингвистический парадигмальный поворот связан и с тем, что стало невозможным не учитывать доксихического «обыденного» языка публичной политики, образующего своего рода трансцендентальные условия научного метаязыка, который эти условия до определенного времени успешно отбрасывал как несущественные. В основании этой уверенности лежала вера в истину и непогрешимость научных «привычек» мышления, основанных на очевидностях «собственного культурного бытия и мышления». Однако «Ар-

гоіогі обыденного языка заставляет учитывать, что любая процедура прояснения смысла опосредована культурной традицией и предполагает ситуацию «предпонимания», на которой возводится весь корпус человеческого знания»¹.

Актуальный вопрос о структуре и аксиомах господствующего политического метаязыка, дающего ключ к интерпретации фактов в системе политического знания, в политологии отсылает исследователя по сути к другим областям гуманитарного знания. Взаимодействие властных кодов и моделей метаязыка политической науки открывается в историческом онтогенезе политической науки, как области знания о власти и знания-власти.

Открытие собственного бытия языка имело едва ли не самые глубокие последствия для политической науки нашего времени. Это открытие было тесно связано с обнаружением закономерной иррациональности политики (власти) и построением на этой основе политических учений, разделяющих власть как рационализированное управление и власть как стихийный политический процесс, взрывающий порядок обыденного. Такова практика анархизма, терроризма, экстремизма и доминирующего в условиях современных демократий популизма. Новые теоретические направления формировались в процессе поиска новых нерациональных детерминант политического поля, взамен устаревшей установки на рациональность, в таких направлениях политических исследований как политическая психология, изучение и формирование общественного мнения, предвыборные манипуляции, политические мифы и стереотипы, теория политической коммуникации и т.п.

Открытие языковой детерминированности политического сознания, того, что оно не есть изначально «чистая доска», а конструируется как таковое с помощью языка, привело к вытеснению сознания языком, который перестал быть вещью, функцией сознания, превратившись в более фундаментальное понятие, чем сознание, определяемое через Разум. Рационально сконструированные универсальные концепты стали лишь «идеальными типами», т.е. условными формами, в которых наука как

¹ *Соболева М.Е.* Возможна ли метафизика в эпоху постмодерна? С. 145.

лишь один из возможных типов познания интерпретирует для себя политическую реальность.

Последняя попытка создать универсальный рационально-логический метаязык науки предпринималась в начале XX в. представителями логического позитивизма: Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, Р. Карнап и др. В своих рассуждениях они исходили из того, что существует объективная, непротиворечивая реальность, однако путаница в языке описания приводит к противоречиям в мышлении. Поэтому стоит лишь формализовать непротиворечивую логику языка, правила высказываний, свести все возможные предложения к ряду простых «атомарных фактов» и логических связей, и мы получим идеальный язык, который есть сама истина, сама реальность. Такая модель языка была создана Л. Витгенштейном¹. Но, как оказалось впоследствии, идеальный язык является таковым лишь в узком срезе определенным образом логически и эмпирически интерпретируемой реальности, и этот аспект является не главным и не единственным. Позже и сам Л. Витгенштейн меняет свою точку зрения на язык, считая, что значения «естественного» языка складываются в процессе употребления, а не задаются умозрительно и что «нет значения без контекста», а следовательно, одно и то же высказывание может быть истинным или ложным в зависимости от контекста высказывания, адресата, ситуации и т.п. Поэтому универсальный язык всегда остается искусственным образованием, ограниченным внутренними логическими правилами и определенным образом программирующим реальность.

Таким образом, классический рациональный язык политической науки был разоблачен и во многом дискредитирован как искусственный язык, претендующий на статус образцового естественного языка. Утрата рациональным языком привилегированного положения осмыслялась, с одной стороны, как кризис науки вообще, с другой – как конец целой эпистемы, интегрировавшей в своей структуре все области и формы знания завершившейся эпохи Разума. Язык превратился в ту «символическую сеть», которая прони-

¹ *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат // Философские работы. Т. 1. М., 1994.

зывает и опосредует любую человеческую деятельность. Язык как основа пространства представления стал бытием, возможно, более реальным, чем сама окружающая физическая действительность.

Оказалось, что между человеком и объективной реальностью существует посредник, отождествляемый с этой реальностью, – язык, в форме мифа, идеологии, нарратива, науки, искусства и т.п. Вот как определяет эту трансформацию Э. Кассирер: «Физическая реальность как бы отдалается по мере того, как растет символическая активность человека... Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы и религиозные ритуалы, что не может ничего знать без вмешательства этого искусственного посредника [т.е. языка]... Разум очень неадекватное обозначение всех форм человеческой культурной жизни во всем ее богатстве и разнообразии. Но все эти формы по сути своей символические формы. И человека, следовательно, наиболее полно можно охарактеризовать как *animal symbolicum*»¹.

В нарративной интерпретации меняется базовая метафора языка. Язык представляется как семантическая сеть, ризома, грибница. Язык описывается как метафорический аналог реальной местности, как топологическая сеть значений и смыслов в пространстве представления. Ориентация в языке здесь аналогична ориентации на местности: знание тропов, чувство правильного пути, интуиция смыслов, тупики и пересечения, ложные круги... Любой теоретический метаязык (науки, религии, мифа, логики) является искусственной сетью, артефактом, выстраиваемым на базе естественного языка, частным случаем всеобщей языковой сети семантических смыслов и значений, связанных друг с другом. Посредством своих внутренних правил сочетания и различия любая из этих сетей воспроизводит сама себя: свою внутреннюю логику, картину мира, связи и представления.

Язык девербализуется. Словесное (вербальное) мышление и коммуникация предстают в таком контексте как актуализация (воспоминание) или, в феноменологической терминологии, «тема-

¹ Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. С. 29-30.

тизация» фрагментов этой сети, как связанных между собой смыслов и значений, их синтаксическое выстраивание, «плетение» рассуждений и предложений по актуальным путеводным нитям смыслов, ассоциаций, значений.

В классической науке здравый смысл, рассудок, логика должны связывать вербальную рефлексию с реальными референтами, для того чтобы она стала истинной. То есть опрокидывать иерархическую сеть значений на реальное топологическое пространство, соответствие которому является модусом истины. Классическая научная эпистема является в данном случае лишь воспоминанием как применением общепринятых, нормативных языковых генерализаций (категорий, правил сочетания и различения) к частной ситуации, опыту, т.е. к опознанию этого опыта, являясь его классификацией. Но воспоминание и классификация не исчерпывают научное познание.

Что происходит, когда классическая рациональность перестает быть единственно возможным научным критерием соответствия значений и референтов, например, в нерациональном состоянии, которое охватывает огромный круг возможных состояний сознания субъекта, обобщаемых в понятии транс? Трансовое состояние сознания представляет собой альтернативные способы плетения сетей, осуществляемые по другим критериям релевантности. Здесь обнаруживаются исключения, то, что не проходит сквозь вербальную, логическую, рассудочную сеть, отбрасывается как вторичное, несущественное: эмоции, интуиция, алогичность, образность, символика, поэтика, перверсия. Отсюда вырастает «проклятая сторона вещей» классической науки: психоанализ, НЛП, искусство, воображение и т.п.

Транс связан не с логическим языком, словом, рацией, сознанием, но с телом, ощущением, интуицией, уникальным опытом – чем-то невербализуемым. То есть язык слов затрагивает лишь узкий слой реальности, один из видов памяти, подчиняя его культурологически требованиям соответствия уже на бессознательном уровне (классификации, язык, отбор памяти). Доминирующая рациональная семантическая сеть языка описания просто накладывает запрет на «иное»: способы запоминания, виды памяти, сочетания и

различия. *И транс выступает как способ парадоксализации привычных когнитивных сценариев и стереотипов языкового сознания.*

Известно ключевое определение Хайдеггером языка как «дома бытия»¹. Язык, переставший быть вещью, но превратившийся в принцип бытия вообще, являет бытие самому себе, отодвигая в сторону Разум как один из своих частных модусов. Следование языку открывает человеку глубины собственного бытия. Язык, как воронка, затаскивает в суть вещей, увлекая человека с поверхности несобственного отчужденного существования, т.е. состояния, когда язык не принадлежит человеку и не выражает его, но скорее, наоборот, редуцирует к рамкам предзаданных значений, задает само содержание мысли извне, втискивая его в прокрустово ложе нормативно-императивного homo sapiens.

Типичный тому пример – «новояз» из романа Д. Оруэлла «1984» как язык, на котором нет соответствующих слов для критики доминирующего политического дискурса. Плоская однозначность слов уподобляет язык машинному коду, в котором господствует чистая функциональность. Сужением рамок мышления, изыманием любой оценочности понятий достигается подчинение сознания тотальной идеологии, заключенной в этом коде. Человек может испытывать смутное недовольство социальным устройством, системой власти, но он не сможет адекватно его выразить на рациональном уровне в связи с отсутствием соответствующих языковых выражений. Подавляемые интересы не способны перейти в открытую оппозицию, потому что потенциальная оппозиция уничтожается даже не в рациональном сознании, но на уровне его изначального структурирования, т.е. на микроуровне языка.

Хайдеггер пишет о том, что изначальный принцип творения заключен в языке, а творение всегда символично и непредсказуемо, его результат недетерминирован². Не любой, но именно символи-

¹ Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. С. 192.

² Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. М.: Гнозис, 1993. С. 104; см. также истолкование данной работы Хайдеггера: Лаку-Лабар Ф. Поэтика и политика // Поэтика и политика. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1999. С. 32-36.

ческий язык называется языком истины, поскольку только он способен сделать все сущее необычным, «остранить» его от привычного склада вещей и тем самым назвать его собственным именем, т.е. показать, чем оно является на самом деле. Поэтому политика, как искусство, в возвышенных своих моментах принципиально символична. То есть только символический язык способен открыть истину сущего политики, которая ускользает от классификаторских типов языка, не способствующих «захваченности» (ангажированности) субъекта политическим бытием, как условию его целостного видения, но лишь расчленению бытия как «наличия», классификации суммы вещей.

Делегитимация императивного метаязыка «классической эпистемы» в ходе автономизации гуманитарных наук от естественнонаучных парадигм затронула и политическую науку. Автономизация была связана с переосмыслением и трансформацией метаязыка описания политики. Трактовка истины как правильности, самоочевидности, достоверности представления вещи, введенная в науку Декартом, была подвергнута сомнению современностью. Акцент достоверности смещается с вещи (объект) на представление (субъект). Властность классификаторского метаязыка, исходящего в своем размышлении от объекта, состоит в том, что он подходит к политическому факту с заданным масштабом. Возможность занять привилегированную позицию беспристрастного наблюдателя обусловлена доминирующим метаязыком, устанавливающим нормативные правила познания в политической науке.

Преодоление функциональности властного метаязыка, который уподобляет социальное природному, связано с наложением на него печати неповторимости, когда становится заметным собственное бытие языка, его история, выходящая за пределы утилитарности и функциональности. Соответственно, политические формы и содержание открываются в своей исторической подвижности, обнаруживают свою властную конвенциональность. Язык сам по себе всегда функционально избыточен, неисчерпаем. Но его способность нести какие-то смыслы помимо мыслей и интенций автора считалась в науке пороком. Прямая и недвусмысленная связь мысли и мира являлась в классической науке Нового времени условием

единой картины мира, представляемой как объективная реальность, одинаковая для всех включенных в нее субъектов. Отсюда знаковая модель научного метаязыка: ясного, логичного, прозрачного, с едиными правилами для всех. Взамен максимальной объективированности и обезличенности язык науки получал статус должного языка, идеальной языковой модели, тождественной самой истине.

Отсюда иллюзия Просвещения и энциклопедистов: любое явление, описанное с помощью «научной» модели языка, уже в силу самого подобного факта «описания» не может быть ложным. Поэтому установление истины во многом отождествлялось с помещением изучаемых феноменов в пространство представления, заданное «правильным» языком, который, как рентген, «просвечивает» скрытую суть вещей, выводя их из тени в свет. Сама мысль о возможности такого единого языка социально детерминирована ситуацией единства закрытой элиты, когда политика еще не стала всеобщим достоянием, и отсутствием борьбы значимых политических субъектов, осознания социальных детерминант политических теорий.

Трансформация метаязыка затронула не только политические науки, но и состояние науки как учреждения в целом. Принципиальное место здесь занимает теорема К. Геделя, доказавшая неполноту любых достаточно богатых формализованных систем. Иными словами, язык несводим к логике любой искусственной языковой модели, а жизненный мир к системе, хотя в идеологических и научных целях они могут стремиться к искусственному отождествлению, подвергаться редукции. Здесь контроль формализованной модели метаязыка выдается за контроль над языком вообще.

Таким образом, лишается очевидной легитимности традиционно доминировавший метод получения истины с помощью научных формализаций, являющихся квинтэссенцией знакового принципа научного метаязыка. Он тоже оказывается условным. Принцип фальсификации пришел на смену принципу верификации. Причем дискредитация была осуществлена не извне, но опираясь на собственные средства знаковой модели метаязыка, что особенно символично: «... теорема Геделя говорит, что когда мы хотим формализовать истину, мы не можем это сделать ни на каком данном

этапе. Мы можем лишь гнаться за ней, всегда охватывая ее лишь частично. Таким образом, имеется некоторый акт расширения нашей формальной системы и в этом акте расширения присутствует потенциальная бесконечность».¹

Суть современной смены научной «эпистемы» (М. Фуко) или «парадигмы» (Т. Кун) состоит в своего рода «амнистии» символической модели политического метаязыка. Если легитимность научного знания коренилась со времен Просвещения на культе разоблачения, объяснения и доказательства, сводивших все факты и явления к единым фундаментальным основаниям, то сегодня научное исследование начинается с выбора модели метаязыка, которая предопределяет одну из возможных логик познания политики. Поэтому центрированность лишь на «аналитических знаках» аксиоматичного метаязыка, исключающих свою интерпретацию, стало со временем лишь одной из научных логик, ретроспективно обнаружившей свои изъяны идеологического характера, связь с определенными политическими интересами и социально-историческими субъектами. Смена доминирующего дискурса политической науки повлекла за собой трансформацию способов легитимации знания-власти, крен от знаковых к символическим принципам построения политологического метаязыка.

Причем процесс смены парадигмы и принципов метаязыка описания шел параллельно как в гуманитарных, так и в естественных научных сферах. В. Гейзенберг пишет о том, что язык классической физики Ньютона, основанный на эксперименте и аристотелевской логике зашел в тупик, превратившись в частный случай современных физических теорий². Теория относительности, устанавливающая законы макромира, Вселенной, с одной стороны, и квантовая механика, имеющая дело с описанием закономерностей микромира, с другой, – не могут быть адекватно описаны категориями, понятиями, представлениями, выработанными языком клас-

¹ Паршин А.В. Размышления над теоремой Геделя // Вопросы философии. 2000. № 6. С. 96.

² Гейзенберг В. Язык и реальность в современной физике // Шаги за горизонт. М.: Прогресс, 1987. С. 208-226.

сической ньютоновской физики, имевшей дело преимущественно с соразмерным человеку жизненным миром. Поэтому современной физике для объяснения явлений, выходящих за пределы возможного человеческого опыта, «естественных» представлений и ощущений приходится прибегать к выразительным возможностям метафорического, символического языка. Взамен отказа от жестких требований, предъявляемых правилами научного вывода, экспериментальной верификации, непротиворечивости ученые получают возможность более адекватного выражения и объяснения сути физических процессов.

Поэтому методологические аксиомы, которыми руководствуется, с одной стороны, квантовая физика, с другой – постмодернисты, изучающие законы социального мира, фактически совпадают.

Таким образом, преодоление эпистемологического кризиса связано с отказом от доминирования в политической науке энкратического метаязыка, претендовавшего на монополию в области истины при помощи одномерной рациональной легитимации. Переход к многомерной легитимации политического знания был обусловлен появлением множества альтернативных эффективных научных логик и языков. Т.е. содержательно расширилось само понятие «научности».

Ж.–Ф. Лиотар прозорливо подметил важную тенденцию современной науки, заключающуюся в переходе от структуры денотативного описания к нарративу (рассказу)¹. Иными словами, нарастающее недоверие к философии, как «метанауке», подорвало веру в науку, которую она традиционно легитимировала. Но в таком случае научное знание перестает соответствовать традиционно привилегированным критериям «научности», становясь в ряд других дискурсов. Поэтому легитимация современного политического знания и дискурса власти в нем черпается в языковых играх, т.е. формах рассказов, истинность которых полагает сам рассказчик в собственных перформативных высказываниях. Кроме самопола-

¹ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии, 1998, с. 9-12

гающих высказываний-действий ни рассказчику, ни адресату больше не на что опереться. Т.е. основания политического знания-власти переходят в сам метаязык политики, в то время как ранее они онтологически предполагались во «внешнем» мире, к которому отсылал денотативный метаязык, лишь описывающий этот мир.

Перформативные высказывания не имеют значения истины, связанного с означаемым: предметом, явлением, действием, событием, которому оно бы соответствовало. Истина таких высказываний не верифицируема классическим образом, поскольку они не имеют референтов вовне, не соотносимы с какими-либо вещами, но сами по себе двойственны, являясь одновременно и словом, и делом. Перформативы не могут быть оценены в категориях истина/ложь, к ним применимы только оценки типа искренность/неискренность, им верят/не верят, в силу их непроверяемости, недоказуемости/неопровержимости. Согласно А. Н. Паршину, выделение перформативов как класса высказываний является реакцией современной лингвистики на магические функции языка: «... перформативные высказывания суть некое дело, и все эти действия, которые осуществляются в перформативных высказываниях, это реликты ритуальных действий».¹

Язык политики становится символическим, когда в нем открывают глубину и оказывается, что он может сказать больше, нежели говорит, а проговаривает больше, чем требуется субъекту этого языка. Именно таким образом происходит разотождествление политологического кода истины и политического кода власти, заключенного в нем. Метаязык власти попадает под подозрение, когда говорит не то, что он хочет сказать, но что-то помимо этого, т.е. «проговаривается».

Все это, в конечном итоге, приводит к отказу от поиска абсолюта, нормативно-описательного кода истины, который закреплял бы данный порядок политики (власти). Более того, чем ближе интерпретация подходит к открытию абсолюта, тем ближе она к собственному концу. Имея дело с языком, интерпретация работает не с

¹ Паршин А. В. Размышления над теоремой Геделя // Вопросы философии, 2000 №6, с. 97

вещами, но с символами вещей; символами, являющимися, в свою очередь, интерпретацией других символов. Следовательно, отсутствие очевидной жесткой связки означающего с означаемым: а) лишает исследователя рационального основания для выбора той или иной интерпретации в качестве образца, абсолюта для последующих интерпретаций; б) выводит структуру дискурса из языка субъекта. В этом смысле критический пафос постструктурализма направлен вовсе не на установление «правильной», «истинной» интерпретации означаемого, но на саму функцию знака, связанную с сокрытием собственного прескриптивного начала и ослаблением его конституирующей функции – указания на референт. Раскрытие невыявленного содержания знака угрожает системе ценностей (идеологии), заложенной в нем.

В политике, на мифической ее стадии, означаемое и означающее нераздельны. Функционирование культурных знаков отражает в мифическом сознании саму реальность, причем адекватно и непосредственно. Слова и вещи «слитны». Никому в голову не может прийти мысль об их разделении или несовпадении. Поэтому в них, по определению, еще не может быть никакого «истинного» содержания, требующего своего «обнаружения» путем «декодирования», открывающего «конечные смыслы». Лишь гораздо позже стало возможным выпадение означаемых «в осадок» и автономное воспроизводство культуры как «свободной, ассоциативной игры» одних только означающих, оторванных от своих означаемых.

Сегодня происходит своего рода возврат к дорефлексивному принципу дуальности означаемого и означающего. Если ранее рассудочно-онтологическим критерием истины было соответствие означающего означаемому, то постструктурализм отказывается от самого принципа деления на означаемое и означающее. Знак из двусоставного вновь становится односоставным, связь же знаков между собой становится плавающей, цепной. В каждом знаке содержится «след» другого знака и так далее. Т.е. знак становится символичным, а истоки этой символизации уходят в бесконечность. Смысл знаков устанавливается не отсылкой к верифицирующей «очевидности», но самой взаимосвязью и взаимодействием культурных символов. Таким образом, контролируемая

властью иерархия ценностей (значений) разрушается. Все смыслы, истины, утверждения приобретают статус относительности, релятивизируются, в отсутствии первоначала и абсолюта.

Можно с легкостью заметить, что тавтологический метаязык беспроblemен, пока дает исчерпывающее представление о предметах речи. Язык не может быть проблемой, когда он всего лишь орудие, инструмент, вещь. Этот метаязык прозрачен. Он как бы не существует сам по себе, – он лишь средство оформления, выражения мысли. Когда эта прозрачность исчезает, появляется собственное бытие языка – автономный символический мир представления.

Внутренняя несамотождественность символа, его интерпретативно-контекстуальная природа ведет к несовпадению означаемого и означающего. Распад классической эпистемы и соответствующей ей единой модели научного метаязыка на множество инвариантов задним числом указывает на тех, в чьих интересах устанавливалась эта модель в качестве всеобщей. Например, по мнению Р. Барта,¹ язык классической литературы заключал в себе интересы класса Буржуазии, сумевшей с его помощью распространить свои ценности на все общество. И лишь становление Пролетариата, как глобального антагонистического класса, выявило идеологические детерминанты и исторически преходящее в данной метаязыковой модели.

Если знаковая структура языка оперирует представлениями, в которых слова отождествляются с вещами и имеют смысл лишь постольку, поскольку что-то отражают, то язык, опирающийся на символы фактически открывает обратный процесс. А именно – независимость символического мира слов от вещного мира, означающих от означаемых, способность первых не только влиять на вторые, но и создавать их. Иными словами, язык оказывается способен творить реальность. Вдруг оказывается, что следовать тождественной логике знака больше не представляется возможным, поскольку означающее, образ никогда не становится абсолютно прозрачным, как бы пропускающим к самой вещи, становясь ею и, тем самым, растворяясь в ней. Взаимность соответствия означаю-

¹ Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М.: 1983, с.326-336

щего и означаемого становится проблематичной. Их тождество уступает место различию, усматриваемому в жесткой соотносительности означаемого-означающего в знаке власти структуры, стоящей по ту сторону знака и легитимирующей его в качестве такового.

Здесь следует отметить, что классическая европейская мыслительная традиция вообще центрирована на логосе, т.е. имеет дело только с тем и наделяет статусом реальности только то, что можно выразить с помощью слов. Но слова конвенциональны и абстрактны, так как являются результатом соглашения людей с общим культурным опытом и исторической картиной мира. Культурные предпосылки и аксиоматичная структура научного языка здесь априорны. Однако смысл слов всегда опирается и на слабо вербализируемую общность культурных переживаний. Отсюда прорастает корень непонимания разных культур, даже если они пытаются говорить на одном языке, который содержательно всегда привязан к историческому образу мира той или иной культуры. И тем не менее, невыразимое вербально-логически вызывает у европейцев подозрение в шарлатанстве, поскольку мысль, последовательно излагаемая с помощью слов, классифицирующих реальность, полностью совпадает для них с языком. Причем язык имеет характер предельной реальности, даже когда речь идет о мистическом откровении.

Культурно-историческая специфичность такого подхода осознавалась в Европе через опыт «другого», альтернативный Восток, интерпретируемый К.-Г. Юнгом как «европейское бессознательное». Переворачивание традиционных европейских бинарных оппозиций: радио–душа, логос–миф, схоластика–мистика, эмпирика–откровение, космос–хаос и т.д., приводит к закономерному самокритичному выводу: «Мы считаем знанием лишь то, что даос назвал бы условным, *конвенциональным* знанием: мы не чувствуем, что знаем нечто, до тех пор, пока не можем определить это в словах или в какой-нибудь другой традиционной знаковой системе, – например, в математических или музыкальных символах.»¹

¹ Уотс А. В. Путь дзен. К.: София Ltd., 1993, с. 26

В дзен-буддизме констатируется, что слова способны выразить лишь «общие места», что-то банальное и поверхностное. Высшим же формам опыта приписывается внеязыковой характер. Они постигаются в обход логоса, с помощью неязыковых техник, ведущих к просветлению, трактуемому как взрыв, скачок из ложного пространства обыденного языка в абсолют, нирвану, отменяющую бесконечную цепь перерождений. Передача такого предельного опыта осуществляется через парадоксы, ломающие заданную логику здравого смысла и представленные традицией коанов – описанием случаев и ситуаций, разрешить которые можно только путем преодоления собственно человеческих стереотипов мышления.¹ Предельно символизированные коаны имеют множество возможных решений, но никогда окончательного, единственно правильного.

Следуя логике западной культуры, мы не можем выйти за пределы языка ни с помощью трансцендентальной феноменологической редукции, с одной стороны, ни с помощью трансцендентных теорий божественного языка – с другой. Наконец, с третьей стороны, существует практика присвоения и контроля языка в рамках аналитической философской традиции логического позитивизма, с помощью попыток фиксации точных значений понятий. Критерием при этом может выступать как обыденный язык (традиция), так и абстрактные системы значений, присваивающие понятиям тот или иной заданный смысл. В обоих случаях язык сводится к модели, будь ее происхождение просторечным (естественным) или философским (искусственным), контроль которой выдается за контроль над языком вообще. На наш взгляд, ни один из перечисленных подходов не может выйти за пределы языка и тем самым помыслить его целиком извне. Язык существует до сознания, которое при своем возникновении уже имеет языковой характер, и чье взаимодействие с миром также опосредовано языком.

Самосознание и рефлексия немислимы вне языка, структура которого предопределяет их формы и содержания. Человек, прихо-

¹ Мумонкан. «Застава без ворот». Сорок восемь классических коанов дзен с комментариями Р. Х. Блайса. СПб: Евразия, 2000

дящий в мир, находит уже сложившуюся ситуацию языка. Даже бессознательное, по мысли Лакана, «структурировано как языковая деятельность». Поэтому анализ бессознательного имеет дело не напрямую с психическими, а с соответствующими им языковыми структурами. Власть над человеком в психоанализе традиционно связывается либо с аффектами (природными инстинктами), либо с языком (культурными требованиями). Аффекты сами по себе не могут быть долговечными и нуждаются в постоянной психологической «накачке» с помощью смыслов и эмоциональных конструкций, выражаемых вербально. С другой стороны, рациональное слово, не подкрепленное аффективными символическими ритуалами и логикой вызова, само по себе беззубо, поскольку не затрагивает глубоких бессознательных психических структур, апеллируя лишь к поверхности расчета и здравого смысла. Поэтому лишь символический язык способен интегрировать в структуре символа аффективные и рациональные (культурные) компоненты, оказывая наиболее глубокое и продолжительное властное воздействие на человека в целом, интегрируя естественные и культурные техники господства.

Язык по своей природе обладает субъект-объектной структурой. Язык ассиметрично коммуникативен, поскольку говорение подразумевает наличие слушающего. Без адресата высказывание теряет смысл. Язык всегда устанавливает систему неравного обмена. Субъекты, взаимодействующие в поле речи, занимают неравные диспозиции в иерархии социума. Структура языковых актов отражает структуру реального социума, реальные отношения господства-подчинения, содержащиеся в нем. В силу этого, в языке изначально заложено властное отношение.

Говоря о властном дискурсе языка, необходимо уточнить, что язык может быть использован, с одной стороны, как средство передачи властных сообщений в ходе разнообразных коммуникаций, с другой – в самой структуре языка заложено направляющее воздействие, своего рода властное принуждение: «...в языке, благодаря самой его структуре, заложено фатальное отношение отчуждения. Говорить или тем более рассуждать вовсе не значит вступать в коммуникативный акт (как нередко приходится слышать);

это значит подчинять себе слушающего: весь сплошь язык есть общеобязательная форма принуждения».¹ Помимо авторского содержания любая форма языка: наука, литература, миф – несет в себе ценности, идеологемы, в значительной степени независимые от авторского замысла. Поэтому, независимо от интенций автора, любая модель языка, любой текст обладают собственной логосферой, собственным дискурсом и логикой смысла, т.е. сеткой связанных и иерархизированных между собой значений, пусть даже присутствующих неявно, подразумеваемых.

Вопреки очевидному наблюдению, все-таки не человек овладевает языком, а язык человеком, заключая в пространство значений, смыслов и логик, в которое человек вступает с помощью языка. Прежде чем человек сможет **что-то** сказать, он должен выучить правила языка, связанные с тем, **как именно правильно** выразить свою мысль. Язык заставляет следовать заложенным в нем дискурсам. Знаки языка – это предельные основания любой реальности. Выход за пределы привычной символической логосферы языка предполагает преодоление собственной природы, собственного разума, отрицание очевидности собственного опыта, здравого смысла и т.д. Можно пройти по краю разума, осознать его пределы и границы – это дается нам в опыте безумия². В безумии разум впервые осознает собственные границы и неуниверсальность. Но, в любом случае, даже этот опыт «иногo» мы можем помыслить научно лишь с помощью тождественной логики, т.е. логики рации и адекватной ему модели языка.

С одной стороны, язык трансцендентен, язык, как и бог, непознаваем до конца. Поэтому отсутствие внимания к языку как проблеме, а тем более попытки контроля языка, отсылают к инстанции (субъекту), присваивающей и редуцирующей язык к собственной модели языка. С другой стороны, не существует “ничейного” языка, языка “для всех”, когда он начинает соотноситься не с

¹ Барт. Р. Лекция // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989, с. 549

² Такая попытка была осуществлена: Фуко М. История безумия в классическую эпоху. Спб, 1997

чистым мышлением (логика), но с политической прагматикой, реальным. Язык – это всегда “чей-то” язык, и он всегда интенционален, т.е. направлен на что-то (кого-то), как только перестает быть объектом теории языка.

Успех структурализма как раз являет собой открытие самостоятельного бытия языка, в том числе и через критику господствовавших до 60-х годов позитивистских подходов, связанных с подчинением языка сознанию через представление. Перенесение моделей исследования языка на объекты социально-политических наук позволило увидеть властную языковую реальность, подчиняющую своей символической логосфере и структуре самостоятельное бытие предметов, воспринимаемых теперь не иначе как текст, ключ к которому дает язык. Таким образом, речь о вещах, базировавшаяся на верховенстве разума и тождестве понятий «классической научной логосферы» самим вещам, где научная речь и есть язык разума, сменяется текстом или же «письмом», если следовать терминологии Ж. Деррида, как первичным принципом языка. Вещи, теряющие свою объективность, очевидность и собственное самостоятельное бытие, превращаются здесь в символы самих себя, в означающие «второго порядка», представляющие лишь текст, средство прочесть смысл, лежащий в нем. Т.е., восприятие референта в качестве текста символизирует его или, в иной терминологии, – кодирует. Причем символизация может быть многоступенчатой и уходить в бесконечность к «прото-письму» и «прото-следам» (понятия Ж. Деррида), которые задают общие условия артикуляция всех последующих элементов, их составления и расчленения.

Итак, структура и правила языка обуславливают законы сознания, мышления, представления, априорно группируя и структурируя различные элементы опыта. Речь идет об освобождении означающего от его идеологической вторичности, попытке следовать его собственной логике. И здесь на смену структурам приходит постструктурализм. Основатель структурализма Ф. де Соссюр положил в основание лингвистики теорию знака как соответствия означаемого и означающего с произвольной между ними связью, само наличие которой было аксиоматично. Любой знак, любое слово

подразумевали за собой тождество с некой отражаемой ими реальностью. Постструктурализм же начал с критики подобных жестких структур, утверждая, что язык (культура) может конструироваться как игра одних означающих, оторванных от своих референтов и функционирующих по собственным законам. Причем они не только отражают, но и сами могут порождать реальное, переворачивая схему Соссюра на 180 градусов. Здесь само понятие реальности становится расплывчатым, преодолевая жесткую дуальность сознания и реальности, означающего и означаемого, объективного и субъективного, поскольку представление зачастую может быть более реальным, чем сама объективная реальность, задавать для реального смысл и просто моделировать реальное в символическом пространстве представления.

Таким образом, язык может не только отражать, но и, в свою очередь, конструировать реальность с помощью замены референциального принципа смыслообразования структурным или же, следуя постструктуралистскому принципу интертекстуальности. Самое важное заключается в том, что при переходе от структуралистского видения мира к его постструктуралистской интерпретации ригидные знаки превращаются, по сути своей, в символы с подвижной областью значений, множественностью смысла, способностью к обратимости и смещению своих значений. Если основной задачей структурализма, как общей идеологии и методологии гуманитарного познания, в том числе и в политической науке, была адекватная и абсолютная (в содержательном плане) формализация объективной реальности аналитическими знаками с целью производства конечной истины, то постструктурализм, подорвав веру в способность знака полностью охватить и воплотить реальность, установил единственно возможный принцип связи реальности и языка, тем самым обнаружил проблему поиска новых средств, позволивших бы на новых принципах легитимировать научные истины.

Нарративный метаязык политики не может быть востребован политической наукой, пока политическое знание строится на доминировании тавтологического метаязыка в век «великих идеологий». Актуальный Постмодерн выходит за идеологическое пространство

политики, скрепленное рациональным идеологическим метаязыком. Доминировавшая политическая форма идеологии уступает место перформативу, нарративу, а рациональность как критерий истины – языку. Таким образом, нормативная рациональная картина мира сменяется языковыми мирами, дискурсами, связанными с политическими, классовыми, культурными, религиозными различиями. Разум перестает быть нормативной сущностью человека. Политические истины становятся имманентными и контекстуальными. Закон различия все реже устанавливается по приоритетным ранее идеологическим границам, а власть эффективно легитимируется с помощью языковых игр, средств самого языка. Проблема познавательной альтернативности политологических метаязыков указывает на исчерпание в политической науке подхода, который мы называем знаковым, где уровень рефлексии теоретического метаязыка исследования вообще не попадает под вопрос.

Своего рода «топтанье на месте» позитивистских моделей политической науки связано с очевидной невозможностью, как ранее, свести символ к аналитическому знаку, позволяющему создать тождество системы и жизненного мира. Подобная методология работала лишь в условиях единой картины мира. Сегодня все попытки создания единой картины сводятся по большей части к тому, чтобы, не меняя универсальной бинарной мыслительной структуры, сменить общие имена: марксизм на теорию либеральной демократии, теорию классов на теорию элит и масс, интернационализм на глобализм, дружбу народов на права человека, социализм на гражданское общество, план на рынок и т.п. Однако отсутствие выхода на фундаментальные эпистемологические проблемы политической науки, детерминанты самого политического мышления и его познавательные аксиомы сводит ценность подобной тактики к нулю.

Причины сдвига социально-политических наук к состоянию Постмодерна, где рациональные универсальные критерии становятся нерелевантными, достаточно очевидны. Это крушение стабильной картины мира, задающей единое иерархическое пространство представления через энкратический метаязык. Сначала ее единство обеспечивалось религиозным согласием (до Реформации

и буржуазных революций), потом национальным единством (государство–нация), и, наконец, идеей идеологического единства (либерализм, коммунизм, глобализм).

Методологическое единство политической науки распалось, когда выявилась социальная обусловленность, классовость политической теории и политического мышления (К. Маркс), а затем – историческая относительность истины любой идеологии (К. Мангейм). Политика стала представляться как ряд «жизненных миров» различных общественных групп. Причем метаязык описания этих групп находится в прямой зависимости от диспозиции данной группы внутри политического поля, главным образом, по отношению к власти. Отсюда разница в методах и метаязыках политики. В стабильные времена целостной картины мира господствуют знаковые метаязыки. Они тесно связаны с принципом идеологии, направленным на консервирование и сохранение статус кво. Символические метаязыки, будучи связаны с принципом утопии, с разрывом сущего и должного, напротив, указывают на противоречие статус кво с идеалом, на альтернативность картин мира.

Ясно узнаваемый идеологический субъект политической власти облегчает в случае необходимости сопротивление ей. Власть здесь «играет в открытую» и человеку ясны правила политической игры. Ситуация меняется, когда власть становится символической. Из угрозы, некоего однозначного приказа она превращается во «влияние» и «манипулирование», исходящие из самых разных источников и непосредственно «включающие» индивида в поле власти, непрерывно довлеющее над ним.

Пост-идеологический политический дискурс апеллирует к суженному сознанию человека как представителя политической массы, который «освобождается» от необходимости осмысливать различия идеологических вариантов политики в их ценностном противостоянии. Вместе с ними он перестает видеть и целостные политические картины действительности, предлагаемые антагонистическими идеологическими концептами. Вместо иерархии идеологических ценностей предлагается упрощенная эмоциональная логика мифа, увлекающая своей метонимически-метафорической формой. Политическая действительность из монолитно-

идеологической становится лоскутной, причем эти лоскуты реальностей, историй, идей не «сшиты» между собой. Логика отдельных лоскутов, актуализация их как микромоделей всего «одеяла» как раз и являет собой манипуляционную стратегию управления смысловыми интеракциями. Власти не нужно легитимировать себя в универсальном контексте, контролировать любое значение, так как не нужны вечные и конечные политические истины: нужна истина на час, на один контекст и в определенной точке политического пространства-времени. Отрезвляющее и рефлекслирующее Завтра не наступит никогда, поскольку «тирания настоящего времени» (П. Вирильо) имеет дело лишь с «вечным сегодня», переполненным очередной «повесткой дня», сколь бы содержательно и политически «мелкой» она ни казалась.

Нарративная политика соответствует символической структуре информационного общества. Когда в политическом сознании человека отсутствует единая мера и масштаб оценки, эффективной становится мифологическая логика политического дискурса с ее техникой шизофренизации, гипостазирования, вещественности, контекстуальности. Манипулятивный дискурс, как дискурс власти, перестает употреблять для описания реальности абсолютные, качественные показатели, связанные с непосредственным жизненным миром людей, с реальным. Доводы и легитимность политического, связанные с реальными референтами: доходом, образованием, лечением, трудом, продолжительностью жизни, уровнем производства и смертности заменяются контекстуальными мифологемами-симулякрами: свобода, демократия, рынок, цивилизованность, прогресс, – понятиями утратившими в пост-современности очевидное содержание, четкое означаемое стоящее за ними. Отсюда эффект гипостазирования, когда политическим «универсалиям» умозрительного порядка вдруг приписывается реальное существование, а коннотация начинает превалировать и определять значения.

Трансформируются формы политической коммуникации: «Техника рационального риторического «уговаривания» публики сменяется визуальной суггестией, рекламным «соблазном», что

качественно повышает спрос на символическую политику».¹ Публичная политика не просто демонстрирует нарастание символичности, ведь иррациональные действия тоже осуществляются под символом Разума. Здесь действия сами становятся символами, своего рода «маркерами», суть которых не в них самих, не в их прямом значении, а в том, что они предлагаются в качестве «интерпретативного ключа», т.е. символа с высокой концентрацией смысла, через который предлагается постижение актуальной политической картины мира адресатом. Большую часть политической коммуникации начинает составлять не что иное, как система ценностно-эмоциональных символов-ключей, складывающих целостное видение политического универсума, индивидуальные механизмы декодирования политических сообщений.

Переход от знаковой семантики к семантике символической выражается в том, что политический дискурс отказывается от последовательного развертывания значений, осуществляемого по модели Текста, и приходит к визуализации и синкретичности в трансляции политических смыслов, что резко упрощает политическую картину. Текстовые значения уступают место максимально дискретным образам, которые трудно опровергнуть в силу их визуальной «наглядности» и «очевидности». Символы политического метаязыка, входящие в «символически генерализованный код» власти, одновременно «облегчают» и вместе с тем «приручают» адресата, ставя под свой контроль систему политических коммуникаций.

¹ Поцелуев С. П. Символическая политика: констелляция понятий для подхода к проблеме // ПОЛИС, 1999, №5, с. 63

Глава III

МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

§ 1. Современные парадигмы политической науки: Россия как объект описания

Вопросы методологии политической науки отсылают к макротeorии, поиску той или иной сущности, «трансцендентального означаемого» (термин Ж. Деррида) в ее основании. Метаязык представляет собой априорную структуру политологического метода. Но обращение к содержательным парадигмам политической науки и их реализации на конкретном политическом объекте является переходом от теории и методологии к прагматике, к реальности политики (власти), данной в своей фактичности через описание политической действительности тем или иным метаязыком. Это обращение к тому, «как» реализуется методология, выраженная в том или ином метаязыке, к тому, «какой» смысловой образ политики он создает. Речь идет о переводе ценностных установок метода в прикладную сферу, в анализ политической практики и ее оценку.

Обозначенные выше «идеалтипические» модели метаязыка политической науки прекрасно онтологизируются на примере российского политического универсума, где они не просто операционализируются в политических парадигмах, но и обладают высокой релевантностью. Описанные во второй главе метаязыки политической науки воплощаются в современном российском политическом дискурсе следующими парадигмальными теориями: тавтологический метаязык воплощается политической теорией модернизации (транзитология), парадоксально-критический метаязык соответствует теориям цивилизации, символично-нарративный метаязык воплощается в политических теориях глобализации.

Транзитологический (тавтологический) метаязык русской политической науки: парадигма модернизации

Эта парадигма представляет собой тавтологическое утверждение универсальности ценностей западного по своему генезису Модерна и Просвещения. Она работает на уровне политического как: а) национального и б) идеологического. Предельным уровнем политического процесса и формой, в которой он разворачивается, выступает нация-государство. Мир представляется как потенциальная совокупность наций-государств. Последние выступают в качестве фундаментальных политических субъектов общемирового пространства, выстраивающих свои отношения в логике ценностей и политических институтов Просвещения, причем отношения как внутри, так и межгосударственные. Нация-государство и ценности Просвещения здесь взаимообусловлены: создание наций ведет к осознанию универсальных политических ценностей и наоборот. Обозначенные таким образом политические институты и ценности трактуются как универсальные, как такие, к которым «естественно» прогрессируют все народы мира. Отклонения от этого пути осмысляются как временные патологии политического развития, препятствия технического характера, никоим образом не отменяющие универсальности смыслов понятий демократии, прогресса, индивида и свободы. Ведь любая политическая патология может и должна быть излечена.

В наиболее радикальном виде парадигма модернизации представлена транзитологией, исходящей из универсальности аксиомы о неизбежном преобразовании любого недемократического общества в демократическое. Фабула подобного перехода представляет собой весьма архетипический сюжет о приходе «золотого века» и «конце истории» как достижении всемирного «гражданского» либерально-демократического политического состояния. В данном случае политический идеал отождествляется с вполне конкретным типом политического устройства западных стран. Все внимание теоретиков сосредотачивается здесь на самом разрыве должного и действительного. Политическая теория занята лишь самой ситуацией и необходимостью перехода, поэтому ценностное

измерение политики отпадает за ненадобностью само собой, так как оно уже предписано заранее. Сознание различий здесь нужно лишь затем, чтобы свести их к нормативному тождеству. Суть и значимость различий, возможность и необходимость их устранения не проблематизируются. Речь идет лишь о технических аспектах, условиях, способах и времени перехода к «золотому веку» и далее: «На основе данной модели создаются соответствующие транзитологические модели – «циклическая», «второй попытки», «прерванной демократии», «прямого перехода», «деколонизации» и т.п.»¹

Парадигма модернизации, используя классические просвещенческие дуальные схемы: община-гражданское общество, демократия-тоталитаризм, архаическое-современное, аграрное-индустриальное, сельское-городское и т.п., будучи оценена с точки зрения морали, несомненно, приобретает манихейский характер, когда дуальные связи приобретают вид борьбы добра-зла. Здесь политологические работы, классифицируя политическую реальность, предписывают заранее те или иные моральные свойства той или иной социополитической общности, заявляя при этом о своей культурной, идеологической и моральной нейтральности.

Однако дело в том, что радикализованное моральное содержание здесь просто уже наличествует «внутри» самих политологических категорий, не требуя обращения к чему-то «извне», за пределами данной модели политической науки. Мораль здесь уже «онаучена» как технологическая составляющая политологических понятий, часто ассоциируясь с «полезностью», эффективностью и «утилитарностью». Поэтому необходимость предварительной рефлексии о моральности политических суждений или их генезисе отвергается как что-то излишнее и уже решенное. В силу этого обстоятельства данный политический дискурс с большой вероятностью приобретает черты мессианства, нетерпимости, дидактизма и «прогрессорства», обращаясь к анализу политической практики.

Проблема политической этики обходится стороной, исключается из дискурса модернизации, так как этический контекст, в

¹ Гуторов В.А. Современная российская идеология как система и политическая реальность: методологические аспекты // ПОЛИС. 2001. № 3. С. 73.

котором ведется политическое исследование, фактически отождествляется с господствующими политическими нормами как естественными, «фоновыми». Интерес к политической этике порицается, поскольку угрожает эффективности господствующих ценностей элиты. В данном дискурсе наукообразное объяснение «запрета на проблематизацию политической этики» состоит в том, что интерес к этике влечет за собой необходимость восстановления идеологии, призванной эту этику обеспечивать с точки зрения реальных интересов политических субъектов и мешающей исследованию объективных политических закономерностей. Однако страусиная тактика «незамечания» влияния властной идеологии на политическую науку не отменяет этого влияния, но, наоборот, способствует его изоэтрности и эффективности.

Теория модернизации – это структура познания тавтологического метаязыка политической науки. Он оформляется в виде культурно нейтрального метаязыка политической Нормы, потенциально распространяемой на любой политический универсум.

Применительно к России идеология данного метаязыка заключается в том, что необходимо применить универсальную политическую теорию к частному предмету – России, которая не обладает какой-либо «особенностью», собственной логикой исторического и социокультурного становления. Поэтому «российская политология как таковая», исходящая из логики отличий и «особенного», здесь просто невозможна. В России этот метаязык озвучивает транзитологическая (тавтологическая) теория, пронизанная духом Просвещения, Панлогизма и Евроцентризма, направленная на прямое заимствование ценностей, политических институтов, политической теории на Западе, представляющем земную реализацию трансцендентного политического идеала. Исторически тавтологический метаязык модернизации (транзитологии) связан с «западничеством», начиная с Петра I и заканчивая диссидентами, романтическими либералами, правыми политическими партиями (СПС, «Яблоко», ДВР, «Либеральная Россия»), «демшизой» – вечными «клиническими» диссидентами.

Ключевыми понятиями логосферы модернизационного метаязыка являются гражданское общество, демократия, конкуренция,

рынок, права человека и т.д. Обобщающим ценностным концептом, включающим и легитимирующим в политическом праксисе все перечисленные, стало понятие «реформы». «Реформа» – ключевой легитимирующий концепт в дискурсе транзитологического метаязыка российской политической науки 90-х гг. XX в. Политический праксис «реформ» опирался в модернизационном дискурсе на сверхценность негативной «свободы от».

Парадигма модернизации тавтологического метаязыка легитимировала новую российскую элиту самым переходом от патологического – критика тоталитарного советского прошлого, к идеальному – апология «цивилизованного общества» через властный концепт «реформ». Однако этот переход в «небо на земле» не сработал или же сработал дефектно в Новейшей политической истории России. Поэтому российская политика, с точки зрения теории модернизации, так и осталась в подвешенном, «извечно переходном» состоянии, с утраченными «началами» и туманными «целями». Возникает удобная схема российской «демократии с прилагательными» в рамках бинарного кода норма–исключение. Эта же схема представляет собой оправдательный дискурс реформаторов, объясняющих, почему реформы не достигли намеченных целей: «Среди реформаторов до сих пор продолжает бытовать точка зрения, что народ не тот, не подходящий для реформ. Поэтому, чтобы проводить настоящие реформы, нужно обманывать народ. Иначе он будет против... Таким образом, новый либеральный миф о народе строится на **полном отрицании всего предшествующего опыта**. Прошлого как бы и нет, поскольку народ только что возник»¹.

Сегодня уже более чем неубедительно выглядят политологические описания политического режима России, которые пытаются включить отечественные политические реалии в поле «универсальной» политической теории модернизации через черный ход «патологического» отклонения от «западной нормы»: «прото-» и «квазидемократия», «затянувшийся транзит», «фасадная демократия» (Д. Фурман), «эрзац-демократический режим» или «авторитарная демократия» (А. Мигранян, В. Рукавишников), «полудемократия»

¹ Цуладзе А. Политическая мифология. М.: ЭКСМО, 2003. С. 297-301.

(Л. Гордон), «российский гибрид» (Л. Шевцова)¹. «Постсоветская демократия характеризуется как «дефектная», «заблокированная», «нелиберальная» и т.д.»². В экономическом срезе этот «патологический дискурс отклонения» дополнительно иллюстрируется теориями «государственно-монополистического» и «феодалного» капитализма, и даже «индустриального феодализма»³.

Вместе с тем даже актуальный идеологический тренд советологии, прямо ангажированной национальными интересами США, связан именно с исчерпанием и «отказом от дискредитированного понятия «реформа» и переходом к эффективной фразеологии, связанной с «возрождением», «развитием», «государством» и т.п.⁴

Фактически в рамках теории модернизации речь идет об адекватности/неадекватности, соответствии/несоответствии российской политики «идеям» (в платоновском смысле) свободы, демократии, рынка и т.д., имеющимся в сознании теоретического субъекта в качестве «идеальных». Причем эта идеальность неререфлексируема, она выступает как символ веры, нечто «интуитивно ясное», самоочевидное для данного субъекта познания. Более того, подобная неадекватность, предвзятость, идеологичность классификации «модернизаторами» описываемых ими же политических феноменов и проблем сводит к нулю все дальнейшие изыскания. Ведь описываемой политической реальности России дискурс модернизации отказывает в собственном «имени», т.е., по сути, в самостоятельном, уникальном характере развития. Соответственно, политическая реальность остается как незадуманной, так и непознанной. Поэтому «общечеловеческие» политические понятия, которыми оперирует теория модернизации, такие как политическое сознание, политическая культура, права человека, демократия, свобода, гра-

¹ Гуторов В.А. Цит. соч. С. 73.

² Бляхер Л.Е. Властные игры в кризисном социуме: преобразование российской институциональной структуры // ПОЛИС. 2003. № 1. С. 63.

³ Бычкова О.В. Постсоветское рыночное реформирование: политэкономические концепции // ПОЛИС. 2001. № 6. С. 164.

⁴ Прозоров Б.Л. О судьбах советологии // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 6. С. 26.

жданское общество и т.д., превращаются в отечественной политической науке в симулякры и заклинания, с помощью которых невозможно решить «реальных» теоретико-методологических и практических проблем как политической науки, так и самой российской политики.

Тем не менее ряд авторов (Н. Смелзер, П. Штомпка и др.) пытаются «спасти» дискурс модернизации, приписывая «переходным обществам», прежде всего Восточной Европе и странам СНГ, «социокультурную травму» (опять-таки «патология»!), которую необходимо преодолевать путем «гражданского ремонта» и «мультикультурализма» (термины Дж. Александера).

Ключевая проблема легитимности современной российской элиты заключается в нарастающем кризисе дискурса господствовавшего до недавнего времени тавтологического политологического метаязыка и соответствовавшей ему теории модернизации, констатирующей необходимость движения к универсальной политической «модерности» (современности), отождествляемой с современной ситуацией Запада: «...“транзитологическая” парадигма есть лишь стыдливое воскрешение из мертвых той самой теории модернизации, которая процветала в 1950–1960-е гг., будучи предназначена для возникавшего тогда “третьего мира”, и почил в 1970-е, выявив свое интеллектуальное банкротство и политическую иррелевантность»¹. Более того, универсальность теории транзита, следующей ценностям, рецептам Просвещения и Модерна, становится все более проблематичной в условиях Постмодерна, в условиях политической, экономической, культурной «глокализации», осуществляемой по вполне четким «двойным стандартам». Двойственность процесса глобализации-локализации уничтожает универсальность, приводит к непреодолимости глобальных границ Нормы/не-Нормы, отвергающим саму возможность «транзита».

Западная советология, представлявшая поначалу авторитетный дискурс в формирующейся российской политической науке 80-х – середины 90-х гг. XX в. (З. Бжезинский, Р. Пайпс, Х. Арендт,

¹ *Капустин Б.Г.* Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия // ПОЛИС. 2001. № 2.

Р. Саква, А. Шапиро и др.), не смогла ни предсказать, ни осмыслить в концептуальных рамках парадигмы транзитологического метаязыка «перехода», трансформаций постсоветской политической реальности. Дело в том, что советология исходила во многом не из сущности происходящих в России политических процессов, не из самой политической реальности, но из привилегированного метаязыка собственных норм и ценностей, транслируемых на «внешнюю политическую реальность», инокультурный «варварский» политический объект – современную Россию.

Господство «западнического» подхода в конце 80-х – середине 90-х гг. XX в. продемонстрировало разрушение теоретической субъектности отечественных исследователей: и в реальной политике, и в политических исследованиях, и в идеологии. Игнорирование своих значимых отличий, когда не проводится граница, *difference*, не развивается собственная аутентичная макротеория (метaparadigma), но, наоборот, дискредитируется старая макротеория и стираются все границы, приводит к модели «протезной» политологии: техническому переложению «правильной» теории Другого Субъекта на отечественный объект, политическое означаемое. В качестве примера можно привести не критичное замещение, вытеснение морализаторским концептом демократия-тоталитаризм (Ф. Хайек, Х. Арендт, З. Бжезинский, К. Поппер и др.), выработанным в условиях холодной войны, аутентичного концепта капитализм-коммунизм.

Здесь западная политическая теория, заполучив статус универсального концепта, разрушает теорию, аутентичную данной политической реальности. Это означает, что Западу предоставляется право субъекта политической теории на российском политическом поле. То есть право судить инокультурную реальность, исходя из своих культурно-исторических условий и конкретных политических задач, своей морали. Иными словами, нарушается сама автономия российского политического поля, обуславливается его неполноценность, несамодостаточность, зависимость от чего-то вовне его.

Любая политическая реальность, означаемое, тело власти не выносит двух систем означивания, нейтрализующих друг друга. Доминирование Другого Субъекта, связанное с неаутентичной системой означивания, ведет к тому, что Тожественный Субъект, по-

теряя свою субъектность на макроуровне исследования, т.е. на уровне парадигмы метаязыка описания, способен лишь отвечать на актуальный вопрос «как», затушевывая неподъемные для него и фундаментальные «зачем» и «почему».

Тожественный Субъект, таким образом, начинает сливаться с объектом, демонстрируя неспособность к критической рефлексии, своего рода форму политического аутизма: «Тенденция к выражению динамики либерально-радикальной интуиции в политических экспериментах была персонифицирована в ученых-обществоведах, пришедших в высшие эшелоны российской власти. Они... овладели формой-алгоритмом научной деятельности: теория-гипотеза-эксперимент. Эти ученые начали освобождать означающие от их зависимости от означаемых...»¹. То есть символически освобождать, уступать политическую реальность для ее нормативной интерпретации Другим Субъектом.

Проблема еще и в том, что внутреннего, российского субъекта власти в целом устраивает существующая политическая ситуация, он заинтересован в ее стабилизации. Эта ситуация характеризуется отсутствием у нынешнего российского субъекта власти (элиты) достойного классового антагониста внутри политического поля, который мог бы выразить массовые интересы путем борьбы за равные, справедливые правила игры для всех агентов политического, экономического и прочих полей. Ни народ, ни «молчащие массы», ни институты гражданского общества, ни рабочий класс (трудящиеся) не проявляют никаких признаков субъектности и политической активности в борьбе за свои интересы, ценности, права. Скорее наоборот, в сравнении с советским временем произошло разрушение форм выражения значимых политических интересов, деградация субъектности и властной влияния масс, низов, народа.

Реальный субъект власти не заинтересован в адекватном и содержательном описании сложившейся политической реальности, режима, системы – слишком она несправедлива, недемократична, т.е. не опирается на интерес большинства, и непопулярна. Отсюда

¹ Качанов Ю.Л. Опыты о поле политики. М.: Институт экспериментальной социологии, 1994. С. 89.

любовь власти к «внешним» политическим метаязыкам: теориям, идущим впереди практики, теории модернизации (о светлом будущем), теориям либерализации (подчеркивающим ужасное советское прошлое), транзитологическим теориям, описывающим безболезненный и неизбежный переход от второго к первому. В любом случае, делиться властью, т.е. демократизироваться, социализироваться и национализироваться, иными словами, возвышать кланово-корпоративные интересы до уровня национальных, политическая элита не будет, в отсутствии реальной оппозиции как внутри, так и вне ее: народа, масс, трудящихся, низов, серьезных оппозиционных вызовов, экономических кризисов и реальных внешних угроз.

Принадлежность тавтологического метаязыка элите определяет логику описания общества, связанную с подменой политических, социологических, экономических категорий анализа: классы, государство, идеологии, партии, справедливость, – акцентирующих внимание на реальной конфликтности политического взаимодействия внутри общества различными культурологическими, антропологическими терминами: нация, индивид, язык, религия, этнос, культура, которые якобы можно решить путем «интеллигентного консенсуса», путем воспитания толерантности, т.е. безразличия, внедрения гражданского общества и т.п. Фактически обосновывается идея отчуждения массового человека от его реального социально-политического интереса в пользу «общепримиряющей национальной идеи», обычно, как это ни странно(!), совпадающей с интересом властного субъекта, контролирующего ключевой политический институт – государство.

Новейшая политическая история продемонстрировала, насколько далек тавтологический метаязык, возникший в определенных социополитических и исторических условиях Запада, от России, которую он пытался, особо «не вникая», идеологически классифицировать как не-Норму. Однако проблематичность бинарной ценностной парадигмы в основании этого метаязыка лишает его какой-либо возможности адекватного методологического и фактологического осмысления того, что он описывает. Ценности и традиции, лежащие в основании политических институтов и форми-

рующие российский политический универсум, отсекаются как второстепенные в рамках теории модернизации, основанной на фундаментальных установках объективизма, прогрессизма, культурной однородности и универсальной рациональности Запада. Причем «тот факт, что неотвратимые законы и тренды истории тоже есть чьи-то перспективы и стратегии, которые “рациональны” лишь в той мере, в какой за ними стоит сила победителей, не рефлексирована теорией модернизации и современной “транзитологией”, что и делает имморализм... элементом их общей парадигмы»¹.

Дело в том, что сам тип западной «модерности» представляет псевдоуниверсальную нормативную схему из двух взаимообусловленных и, в целом, второстепенных признаков Модерна: развитой экономики, обязательно в рыночной форме, и либеральной демократии – «политической свободы».

Адекватно предложенная схема работает только при анализе не универсальной, а именно уникальной социокультурной реальности Запада, как аналитический метаязык «для внутреннего употребления». Но его распространение вовне, в сравнительном политологическом контексте, обнаружило несвязность даже этих признаков. Пример – как феномены недемократических, но рыночных индустриальных монстров (Китай, Южная Корея, «азиатские тигры», Чили), так и демократических, но нерыночных государств. В эту категорию мы бы отнесли весь бывший соцлагерь, где в экономической сфере доминировало государство и плановая экономика, хотя и с определенными натяжками по поводу демократичности, которая, тем не менее, была закреплена законодательно².

В целом, смоделировать политическую логику свободного рынка можно и в альтернативном, негативно-критическом ключе. Эта альтернативная логика исходит из реального противоречия «экономикс» и политэкономии. Дело в том, что реальная конкуренция многих субъектов на свободном рынке, уменьшающая из-

¹ Капустин Б.Г. Цит. соч.

² В качестве радикального примера можно вспомнить о демократических, но нерыночных, даже рабовладельческих историко-политических образованиях, таких как древнегреческие полисы, Римская республика.

держки/цены в борьбе за потребителя, может трактоваться и лишь как частный случай, неустойчивое асимметричное положение, которое рано или поздно закономерно преобразуется в устойчивое состояние дуополии/монополии, симулирующей конкуренцию через различные отраслевые соглашения о ценах и договоры о долях на рынке. Политическим аналогом является в данном случае неустойчивость многополярного мира, например, мир между Первой и Второй мировыми войнами, в сравнении с однополярным (Римская империя) и биполярным (СССР-США) мирами. Не секрет, что вне рыночные договоренности крупных корпораций гораздо эффективнее и менее затратны, чем издержки «честной конкуренции». Поэтому классические примеры конкуренции, которые описаны в учебниках «Экономикс», являются вовсе не «естественными», а, как минимум, нормативно-идеологическими примерами и состояниями экономики.

В негативной интерпретации перенос логики чистого рынка на политику ведет к подчинению политики интересам корпораций, превращению избирателей в потребителей, а их политических усилий в «инвестиции в политику». Это превращает политику в функциональный придаток, обслуживающий интересы крупных финансово-промышленных структур. Поэтому капитализм и свободный рынок антидемократичны. То есть политическая демократия устанавливается не благодаря, а вопреки логике чистой прибыли, которая игнорирует любые социальные издержки бизнеса. Демократия может функционировать только через ограничение капитализма: профсоюзы, налоги, антимонопольное законодательство, государственный контроль, ограничение эксплуатации, введение ограничений эксплуатации труда. Иными словами, через социализацию и «гуманизацию» бизнеса, возможные лишь посредством сильного государства, обладающего собственной политической логикой, независимой от интересов крупного бизнеса.

Реальная представительная власть, опирающаяся на интересы большинства, часто входит в противоречие с интересами ФПГ, представляя классический конфликт Труда и Капитала. Свободный рынок заинтересован в ослаблении государства через приватизацию, денационализацию, снижение налогов, отмену законо-

дательных регулятивов, свободные неконтролируемые финансовые потоки. Приватизация политических институтов финансово-промышленными группами лишает их общественного (демократического) статуса, т.е. они перестают определяться интересами тех, кто их выбирает. Но в таком случае политическая система, вне зависимости от того, демократическая она или нет, перестает оказывать значимое влияние на условия жизни большинства населения.

Здесь ложное отождествление капитализма с демократией возникает из-за того, что капитализм заинтересован в поддержке демократической рассредоточенности политической власти, облегчающей контроль политических институтов в рамках финансирования публичной политики. Наоборот, плохо поддаются контролю со стороны нелиберального экономического порядка режимы, где политическая власть находится в концентрированном виде, в руках сильного государства независимого от публичной политики, а следовательно, и от больших денег. Здесь государство обладает собственной политической логикой, связанной, как правило, с опорой на интересы большинства (Труда), т.е. не на формальную, а на реальную демократию. Это позволяет политической системе автономизироваться от экономики, а в случае необходимости и противопоставлять себя интересам Капитала, проводить антикапиталистические, антирыночные преобразования, регулировать рынок с точки зрения улучшения условий жизни большинства. То есть государство здесь ставит демократическую ценность справедливости выше элитарной ценности экономической эффективности. И обвинения сильных политических систем в несовременности и тоталитаризме на основании того, что в них жестко регулируется экономическая деятельность, представляют в большинстве случаев всего лишь манипулятивную риторику.

Ложное отождествление капитализма и демократии обернулось, в конечном счете, как кризисом отечественного перехода к «демократическому капитализму», т.е. построению «демократии для народа, но без народа», так и кризисом самой либеральной демократии на Западе, опровергающим универсальную схему ото-

ждествления рынка и демократии, согласно которой построить политическую демократию можно только как следствие функционирования рыночной экономики. Этот кризис западного капитализма осознается и формулируется в идеях постмодернизации, антиглобализации, экологических и прочих нонконформистских движений, критике универсальности проекта Просвещения. Пример России показывает, что либерализация экономики привела к ее «декапитализации» и свертыванию производства и, параллельно, сопутствовала нарастающей элитаризации (де-демократизации) политики и росту общественного неравенства. Иными словами, либерализм антидемократичен, а демократия уравнительна, поэтому их сочетание неестественно и может быть обусловлено только внешними причинами, например, «холодной войной» и наличием СССР, заставлявшими западный либерализм быть «демократическим».

Поэтому императивный транзитологический метаязык включает сам себя в идеологическую ловушку, когда пытается подогнать отечественные политические означаемые под идеализированные нормативные схемы, так как в данном случае выписка рецепта предшествует анамнезу болезни, которая вдобавок зачастую симулируется самим врачом. Речь идет о декларации этической нейтральности в виде позитивистской объективности при отборе фактов и интерпретации ценностей. Ранее уже говорилось, что объективность – это привилегия властного дискурса в политической науке, дискурса скорее идеологического, чем научного. Но дело даже не в этом. Политика и политология направлены именно на ценности, на субъективное, на измерение сознания и самосознания субъектов, рефлексии, т.е. на саму «надстройку» общества, а не на объективный базис, которым занимается экономика. Описание структуры политических отношений прямо зависит от положения исследователя в этой структуре: социального, возрастного, экономического и оценки им этой структуры с точки зрения должного, желаемого, идеального. Поэтому метаязык, направленный на субъективное, но изначально руководимый некими объективными непреложными закономерностями, отсекающими все субъективное и сомнительное, не может быть этически нейтральным, если только он прямо не предназначен для целей

политического управления вместо поиска истины. Тогда этот метаязык теряет статус научного.

Идейный провал и резкое свертывание публикаций в политологических журналах транзитологических теоретических рецептов для России, а также в более общем виде кризис, например, привилегированного евроцентричного дискурса в сравнительной политологии, обязан здесь, прежде всего, именно отсутствию методологической рефлексии исследователей по поводу исторических, экономических, цивилизационных, климатических, национальных и т.п. скрываемых или игнорируемых детерминант, выявляемых на собственном опыте или апостериори, плюс некритично используемых нормативных мыслительных схем. «Натянутые концепты», ориентированные на авторитет привилегированного политологического дискурса Запада, попросту «лопнули». Более того, оказалось, что и «...не стоит стремиться найти универсальное познавательное средство, которое поможет раз и навсегда ликвидировать “айсберги” как таковые. “Титаник” не превратится в ледокол; то, что годится для одних случаев, не всегда пригодно для других...»¹

Итак, в российской политической науке 80-х – середины 90-х гг. доминировал транзитологический метаязык и соответствующая ему теория единообразного пути прогресса – теория модернизации, которая, одновременно, служила парадигмой подавляющей части политологических трудов. В них реальные социально-политические феномены, политическая система как таковая осмыслились с позиции идеального, универсального, конечного состояния политики, реализованного Просвещением в виде западного Модерна.

Противоречивость дискурсов внутри отечественной политической реальности, а также ее опытным путем подтвержденная в ходе либертаристских экономических «реформ» и политических экспериментов несводимость к идеалу поначалу мыслились как патология, которую надо привести в соответствие требованиям нормы. Но еще М. Фуко писал, что привилегия нормы как раз

¹ Гельман В.Я. «Столкновение с айсбергом»: формирование концептов в изучении российской политики // ПОЛИС. 2001. № 6. С. 12-13.

оформляется за счет не-Нормы, разум за счет безумия, закон через определение преступления и т.д. Поэтому попытка реализации западного Модерна в глобальном масштабе показала его граничность за счет политического «Иного» и привела к закономерному кризису на самом Западе, осмысляемому как состояние постмодернизации, демодернизации, глобализации, деиндустриализации, виртуализации и т.п. Кризис политических институтов Модерна (массовые партии, массовые профсоюзы, массовое участие) как прямое следствие «овеществления», т.е. реализации и профанизации его фундаментальных идеологических ценностей, показал всю идеологическую уязвимость, исчерпанность, граничность (историческую, цивилизационную) тавтологического метаязыка о политике и соответствующего ему в современности дискурса модернизации, в том числе и в России. Но вместе с теорией модернизации с неизбежностью должен уйти и критический проект Модерна с его парадоксальным метаязыком, как оппозиционный член той же универсальной дихотомии, того же политико-исторического универсума.

Парадоксально-критический метаязык: парадигма цивилизации

Парадигма цивилизации как основного субъекта исторического политического процесса довольно подробно разработана в трудах Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, С. Хантингтона, С.Г. Кара-Мурзы, А. Дугина и др. Она представляет собой критику модернизационной теории, исходящую из того, что ценности Просвещения и Модерна действительно **могут быть универсальны**, но никак не могут быть универсальны те или иные национальные рецепты их реализации. В том же направлении эволюционировала и «критическая школа», размышляющая уже не о судьбах классов и наций, но, к примеру, о судьбах проектов Просвещения, Модерна, роли западной цивилизации в глобализации и мировом разделении труда и т.п. Однако утопический (критический) метаязык оппозиции ставит под сомнение не осуществимость/осуществленность всего проекта Модерна в принципе, а лишь его интерпретацию с точки зрения господствующих классов.

В рамках цивилизационно-критической парадигмы обосновывается тезис о том, что общечеловеческие политические ценности есть условие и атрибут общечеловеческой культуры, которой в реальности никогда не существовало. И говорить от ее имени – значит претендовать на глобальную власть. Общечеловечно человечество лишь по своему генезису, как биологический род. В политико-историческом срезе времени существуют лишь цивилизационные общности, конфликтующие, исторически изменчивые, часто исходящие из противоположных друг другу социально-политических аксиом и ценностей. Соответственно, как в политике, так и в системе политического знания нельзя достичь всеобщих истин на теоретическом уровне. Всеобщими могут быть только политические нормы (ценности), т.е. «что и каким образом политические субъекты должны делать». Причем всеобщность политических норм-ценностей релевантна только в рамках цивилизационных политических универсумов. Нельзя не заметить, что, к примеру, такие «очевидно понятные» для западной цивилизации символы и заклипания, как демократия, права человека, частная собственность, индивидуализм, конкуренция, гражданское общество и др., теряют свою «очевидную» семантическую нагрузку вне ареала Просвещения, а с ней и способность к магической, ритуальной, символической функции объяснения политики, легитимации политической практики. Абсолютизация ценностного метаязыка той или иной цивилизации аналогична очередному, обреченному на неудачу построению «Вавилонской башни».

В критическом метаязыке уровень политической парадигмы поднимается с национального до цивилизационного. Внутри культурно-исторического единства цивилизации обосновываются и легитимируются культурно-исторические отличия и сама чувствительность наций, входящих в цивилизацию, к тем или иным ценностям и институтам Модерна. Внимание исследователей концентрируется не столько на внутренней неоднородности наций-государств, сколько на неоднородности в рамках цивилизаций и отличиях между ними. В рамках цивилизации легитимируется разработка «политического особенного», т.е. исторических, экономических, культурных отличий наций. Признается влияние сложивших-

ся форм политического устройства и правления, «культурологического аргумента», т.е. исторической политической реальности на аутентичный вариант реализации универсальных ценностей, национальные склонности к принятию определенных ценностей и отторжению других.

Осознание цивилизационной граничности проекта Просвещения в современном мире особенно ярко выявило детерминацию политических ценностей культурно-историческими условиями как их открытия, так и реализации. Интенсификация процессов политической глобализации/локализации очень ярко продемонстрировала герметичность и граничность цивилизационных ценностей, насаждение которых в догматичном варианте за пределами аутентичных цивилизационных границ приводит к серьезным конфликтам и отторжению со стороны цивилизаций – объектов «цивилизаторства». Тем не менее политический метаязык Просвещения, как метаязык Запада, остается привилегированным метаязыком политической науки, хотя в нем реализуется свобода выбора «политически иных» цивилизаций в их отношении к Западу – вестернизация, модернизация «своим путем», традиционалистская оппозиция и т.д.

Цивилизационная парадигма указывает на источники парадоксов, возникающих при реализации одних и тех же идей зачастую в антагонистических формах, что осмыслялось в рамках модернизации как патология, «ошибка исполнителей» или «неправильный больной». Деуниверсализация теории модернизации осуществляется через критику национально-государственных проектов Модерна и Просвещения, которые навязывают миру свои «уникальные» способы реализации и «особенные» формы институционального оформления ценностей как нормативные не только в рамках своей цивилизации, но и распространяют подобную установку на все другие цивилизационные общности.

Критический политический дискурс теории цивилизации как раз является реализацией принципа дополнительности, применительно к проекту Просвещения, тем «утопическим жестом», который является необходимой составной частью, условием саморазвития и самокоррекции данного политического проекта. Это критика «изнутри», обнаруживающая культурные ресурсы адаптации, на-

ходящиеся на периферии проекта Просвещения, в маргинальном состоянии. Эти ресурсы активно используются в случае кризиса данного проекта, как раз и наблюдаемого в условиях перехода к Постмодерну.

В отношении России цивилизационный подход – это все еще универсалистская теория познания политики, понимающая Россию уже не как частный, а скорее как особенный предмет, самостоятельную, уникальную реальность. Априорная аксиома цивилизационно-критического метаязыка состоит в том, что любая политическая теория культурно детерминирована, а предмет, к которому ее пытаются приложить (Россия), – уникален и специфичен. Поэтому сведение к универсальной норме является в плане познания иной цивилизации неэффективным методологическим ходом, демонстрирующим теоретическое бессилие и безразличие. Политическая норма цивилизации в данном контексте не может черпаться в идейном пространстве соседней цивилизации. Она может возникнуть только в собственном символическом пространстве цивилизации, неким образом интерпретируя собственное прошлое/настоящее/будущее. Теория цивилизаций представляет собой парадигму парадоксального метаязыка политической критики, надстраиваемого над тавтологическим метаязыком.

В России цивилизационная модель метаязыка, связанная с аутентичностью «своего пути», получила наиболее законченное теоретическое воплощение в отечественном варианте марксизма, как теории капиталистической (индустриальной) модернизации. Построение социалистического общества сначала в отдельной стране, потом в «социалистическом лагере» представляло собой не что иное, как разработку альтернативного критического цивилизационного варианта Модерна. В этом смысле советский марксизм интересен тем, что он вобрал в себя и воспроизвел многие идеи тех, кто ему предшествовал и кого он победил, попутно вобрав идеи повергнутых противников. Речь идет об идеях славянофилов, народников, анархистов (эсеров) и евразийцев.

Особенности аутентичного политического пространства власти в России осмысляются в критическом метаязыке как: а) детерминированные статусом России как империи; б) статусом уникаль-

ной цивилизации; в) нередуцируемостью России ни к Европе, ни к Азии, ни к квинтэссенции того и другого – Россия как Евразия/Азиопа; г) идеократическим принципом построения российского государства. В силу идеократичности содержание идей, их язык, способы выражения, идейная тотальность были чрезвычайно важны. Причем идеократия вовсе не сводилась к универсальному метаязыку марксизма-ленинизма и классовому подходу. Наоборот, официальная идеология государства была лишь внешней выразительной (означающей) формой, в которой нашло свое выражение практически все значительное внутреннее содержание российской политической традиции. Поэтому марксизм был не столько содержанием советской идеократии, сколько наиболее адекватной и близкой российской культурной реальности объяснительной рациональной пленкой идеологии, адаптированной к условиям России. Поэтому отождествление классического марксизма и официальной советской идеологии аналогично отождествлению внешних форм ритуала с его внутренним смысловым содержанием, движением самого духа.

Марксизм в западной цивилизации победил именно потому, что изначально был освоен не как доктрина (западное универсальное прочтение), но как метод, руководство к действию, ревизионистскому, в своей сущности, развитию идей, предполагающему, прежде всего, этическую интерпретацию ключевых экономических «догматов». Только творческая критическая теория внутри марксизма могла обосновать и легитимировать СССР, возникший вопреки его догмам, синтезировать форму марксизма с упомянутыми «почвенническими» течениями.

В институциональном плане постсоветской политики главное изменение в рамках критического метаязыка видится в упразднении КПСС и отсутствии в современной российской политической системе органов или их совокупности, восполнивших бы функции КПСС. Последняя не была партией в традиционном смысле, но как медиатор власти связывала воедино все уровни политической системы, обеспечивая эффективную обратную связь с населением. Сегодня подобного медиатора власти и общества не существует, масс-медиа выполняют совсем другие функции, «гражданского общества» еще/уже нет.

Своеобразие КПСС состояло в том, что оно объединяло в себе принципы политического управления (идеологические) с принципами моральными и религиозными (утопическими), опирала первые на авторитет вторых. Опора на традиционные начала всеобщей этики, пусть и в превращенно светской коммунистической форме, обеспечивала дополнительную степень легитимности, осуществляемую как через институциональную политическую структуру, государство и закон, так и через религиозно-утопическое, идеологическое измерение. «КПСС была не частью государственной машины, а внешним дополнением к ней – общественной организацией, говорящей на ином, нежели государство, языке»¹. При этом этот язык был понятен всему обществу. Сегодня подобное внешнее дополнение к государству отсутствует, а отчуждение государства от основной части общества остается угрожающим. Гражданское общество и партии с этой задачей не справляются, так как первое отсутствует, а вторые являются, прежде всего, лоббистами различных группировок элиты, а не посредниками населения и власти.

Сегодня цивилизационная парадигма метаязыка наиболее рельефно разрабатывается в русле антиглобализма – традиционалистскими и евразийскими цивилизационными теориями, которые уже не столько критикуют проект Просвещения, сколько перспективу реализации глобального пост-Модерна, который оборачивается симуляцией и уничтожением Модерна, контр-Модерном. Здесь ведется, и достаточно успешно, поиск других, нежели просвещенческие, оснований для антиглобалистской критики, интенция которой состоит в том, что «Великая книга новоевропейской демократии до сих пор читалась на национальном уровне. Ее предстоит теперь прочесть на глобальном уровне – с позиций восстановленного суверенитета большинства, призванного демократически контролировать действия элит, подвизающихся на мировом уровне»². Однако существует и пессимистический вариант развития: «Демо-

¹ *Кара-Мурза С.Г.* Советская цивилизация. М.: ЭКСМО-Пресс. Т. 2. 2001. С. 416.

² *Панарин А.С.* Испытание глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. С. 65.

кратия была эффективна в рамках национальных государств, усиление транснациональных политических институтов с их информационными и экономическими технологиями делает публичную политику просто лишней»¹.

Парадоксально-критический метаязык в российской политической науке несомненно коррелирует с «реваншистским мировоззрением» и критикой доминирующего в постперестроечное время «западнического» дискурса власти. Он связан с двумя, на первый взгляд, различными моделями метаязыка, имеющими, тем не менее, общий корень: цивилизационную парадигму и критику «жесткого варианта» Модерна, отождествляемую исторически и социокультурно с Западом.

Первая форма этого метаязыка, ее можно назвать «позитивной», сосредоточена на оправдании и возвышении собственной цивилизационной истории, аутентичного политического универсума, и критике с этих позиций западных политических теорий, находящихся «не в ладах» с незападной социокультурной исторической реальностью.

Вторая, «негативная», форма данного метаязыка связана с принципом «от противного», иными словами, с критикой Модерна изнутри. То есть критикой его попыток покинуть западный политический ареал и без изменений, без отказа от черт «особенного» в пользу черт «всеобщего», реализоваться в ином цивилизационном пространстве. Здесь не столько обосновываются непреодолимые цивилизационные различия, сколько критикуются жесткие формы идеологического экспансионизма и мессианизма западного Модерна, практические попытки взрастить Модерн в западном виде на иной цивилизационной почве, без всяких приемов акклиматизации и гибридизации, что делает эти попытки чрезвычайно неэффективными. Акцент делается и на том, что политические формы и системы ценностей, которые внедряются теорией модернизации от имени Запада, «цивилизованного общества», самому Западу сегодня не присущи либо имели место в его «диком» историческом прошлом.

¹ Неклесса А.И. A la carte // ПОЛИС. 2001. № 3. С. 41.

Позитивная версия парадоксально-критического метаязыка построена на апологии России как уникального политического универсума, в рамках которого сформировалась альтернативная Западу модель Модерна, своего рода «традиционный Модерн». Причем отличия от западной модели здесь более важны, чем сходство с ней. Простое копирование Запада, приписываемое транзитологическому метаязыку, оценивается как разрушение собственного политического универсума, его архаизация. Поэтому попытки модернизации России как копирования Запада, начиная с Петра I, западников и заканчивая делящейся по сей день постперестройкой, описываются как провальные, натыкающиеся на глубинный конфликт «космического мироощущения русской культуры и ньютоновской картины мира» (А. Лосев), вследствие того, что «естественные» аутентичные политические реалии пытались поместить в «прокрустово ложе» чуждого пространства представления, т.е. анализировать российскую политику с точки зрения универсальной теории как частный однородный предмет, не имеющий никаких значимых отличий и культурно-исторической специфики. Иными словами, априорная аксиома цивилизационно-критического метаязыка состоит в том, что любая политическая теория не универсальна, не общечеловечна (ее признание означало бы конец современной политики), но культурно детерминирована, а предмет, к которому ее пытаются приложить (т.е. Россия) – уникален и специфичен.

Указывается, что Россия в любом случае не может (да и должна ли) в одночасье создать гражданское общество и само политическое поле, адекватное политической проблематике Запада. Вместе с очевидными достижениями связаны и специфические проблемы Запада, которые России ни культурно, ни исторически не присущи. Западу для создания гражданского общества потребовалось несколько сотен лет, и исходил он из своей уникальной культурно-исторической ситуации и потребностей. Поэтому сама необходимость ценностно-идеологической унификации России с Западом является, по меньшей мере, проблематичной, так же как и универсальный характер «общечеловеческой» теории модернизации и манихейская структура политического мышления Запада, проте-

кающая в форме бинарных оппозиций, таких как цивилизованное-варварское, традиционное-современное, свободное-несвободное, открытое-закрытое, гражданское-тоталитарное и т.п. Более того, само употребление в поле этих оппозиций категорий демократии, свободы, выбора, прогресса, превращает их из содержательных понятий в морально детерминированные символические маркеры, призванные легитимировать вполне определенные политические истины.

Главная ценностная установка, определяющая политологические выводы критического метаязыка, состоит в том, что Россия представляет особый цивилизационный тип с определенными традициями организации своего политического универсума и символами оправдания власти. Поэтому исходная культурно-историческая аксиоматика сущности человека и структурная матрица политики в отечественной политической реальности не только не совпадает, но зачастую даже противоположна той, что доминирует в западной цивилизации.

Основной претензией адептов цивилизационно-критического метаязыка своим противникам является упрек в придании «холодной войне», а также антагонизму советского строя с «капиталистическим» статуса внутренних «идеологических разборок», разрешаемых в рамках универсального **идеологического** дискурса Просвещения и Модерна. Суть конфликта, по их мнению, на самом деле носит фундаментальный **цивилизационный** характер, уходящий вглубь совместной истории России и Запада и вовсе не исчерпывающийся советским периодом. В этой ситуации не критичное принятие метаязыка и ценностей «иной» цивилизации, с помощью которых она описывает глобальную реальность и легитимирует собственную власть, является цивилизационным поражением. Поэтому Россия не может осмысляться как «интересный» частный случай, который необходимо «исправить» и «включить» в глобальную философию истории западной цивилизации, если Россия не желает потерять свою субъектность на глобальной «шахматной доске» политики.

Напротив, утверждается, что СССР является закономерным, органическим и даже высшим этапом в российской истории, в ходе

которого Россия была полностью модернизирована и окончательно перешла к современности. СССР описывается как самостоятельный сложившийся вариант «социалистической современности», а вовсе не «предсовременность» или «отклонившийся вариант» современного Запада. Доказывается, что различия этих двух вариантов современности – «социалистического» и «либерального» – заключались в субъективных вещах (ценностях), в «надстройке» над общим базисом признаков и критериев современности, т.е. Модерна: мощная индустрия, всеобщее образование, широкий круг социальных прав и гарантий, высокий уровень жизни, легитимность власти и политических институтов в глазах населения и т.п. Обрушение одной из этих «современностей», связанное, прежде всего, с внутренними процессами, происходившими в ней, вовсе не означало, что оставшаяся является победившей, истинной, универсальной. Эти внутренние процессы описываются в рамках критического метаязыка как «контрреволюция сверху». Более того, этот факт воспринимается как крушение стабильной геополитической модели политики, чреватое непредсказуемым развитием событий в будущем.

В этом смысле делается вывод о том, что современная постсоветская ситуация вовсе не является ни антисоветской контрреволюцией, ни капиталистической реставрацией, ни возвратом в точку отсчета 1913 г., ни выходом на «общечеловеческий» магистральный путь развития, осмысляемый в рамках транзитологии как единственно возможный. Любые аналогии неуместны, так как сложившаяся политическая ситуация уникальна и непредсказуема. Она «не предсказана» ни российским обществоведением, ни западной советологией, но ее суть может быть заключена только во всем историческом онтогенезе российского политического универсума.

С другой стороны, трансформация российского политического поля, безусловно, связана с мировыми политическими тенденциями новейшего времени, не может рассматриваться изолированно от них. Но адекватное постсоветской осмысление трансформации может быть связано только с его уникальностью и отличиями аутентичного политического поля, но никак не с попытками переноса и адаптации «вчерашних» либо заимствованием «иноцивилизационных» политологических метаязыков, перемещаемых на по-

литическую ситуацию, которая не вписывается в предлагаемые этими метаязыками парадигмы. Даже если происходит заимствование парадигмы, например, геополитического «консервативного революционаризма» А. Дугина, она должна быть отрефлексирована и «переварена», с тем чтобы приобрести культурно-критическую дискурсивность и аутентичность отечественному политическому полю, прежде чем включать ее содержание в арсенал российской политической теории.

В современном мировом контексте России критическим метаязыком приписывается следующая дилемма. Либо она, стремясь стать частью Запада, «цивилизованного мирового сообщества», станет его сырьевым придатком, т.е. объектом политической, экономической, культурной глобализации, либо Россия сможет стать в авангарде антиглобализма, стран и цивилизаций потенциально образующих противовес «золотому миллиарду» как единственному сегодня реальному субъекту глобальной, мировой политики. Роль глобального полюса силы, организатора субъектов Труда против интересов Капитала в свое время успешно сыграл СССР, добившийся значительных успехов: деколонизации, геополитической стабильности, «социализации» мировой экономики, в том числе и в странах самого Запада. Третий возможный вариант – автаркия, изоляционизм, опора на собственные силы и сосредоточение на внутренних проблемах – является самым маловероятным вариантом.

Иными словами, кризис и критика неаутентичного (иноцивилизационного) транзитологического метаязыка описания состоит лишь в том, что он неспособен допустить, что реализация «правильной» теории (парадигмы), например, либертаристских экономических реформ или попытка создания гражданского общества, дающая патологический результат, объясняется не неким несовершенством этой реальности, а наоборот, нерелевантностью в данном контексте самой парадигмы теоретического метаязыка, на котором пытаются ее выразить. Поэтому объяснение провала «реформ», формального характера демократии, рынка, гражданского сознания и т.п. через некую присущую России патологию: рабство русской души, тоталитаризм общины, неразвитость правового сознания,

тоску по сильной руке, русскую лень, русский климат – является либо просто интеллектуальной формой мазохизма, либо попыткой онтологического оправдания универсальной теории модернизации, наткнувшейся на уникальность российской цивилизационной реальности, что фактически тождественно саморазоблачению, признанию теоретической несостоятельности.

Опора критического метаязыка на политическую онтологию заключается в том, что ложность теории, подтвержденная политическим праксисом, означает лишь, что схоластически «правильная» теория – неправильна, неэффективна, неадекватна и что у «правильной» теории есть неведомые ей, но все же более истинные и адекватные альтернативы, в основании которых лежит сама социокультурная реальность, содержание и ценности аутентичной культурной среды, а не «правильная» идеологическая установка на их интерпретацию.

Анализ нынешней политической ситуации приводит критический метаязык к вполне закономерному выводу о том, что реформами, начиная с перестройки, в России был совершен не идеологический, это лишь прикрытие, т.е. миф, рационализированный транзитологией, а именно цивилизационный переворот. Причем реформы являются свидетельством проигрыша в противостоянии цивилизационно-глобального уровня, более высокого, чем национально-идеологическое, т.е. внутриападное противоречие, причем начиная с самого возникновения СССР. Поэтому в результате фундаментальных политических реформ произошла не смена идеологий, а смена базовых символов, «базового мифа» общества, выход в постидеологическое глобальное пространство. Оказалось, что идеологии были лишь исторической структурой, но не сутью борьбы, связанной с цивилизационным противостоянием равновеликих альтернативных вариантов современности.

Политические причины поражения СССР связываются в критическом метаязыке с тем, что в глобальном плане СССР остался идеологическим государством. В рамках реализованных в нем в критической форме ценностей Просвещения и Модерна он не смог освоить ситуацию и состояние пост-Модерна. Поэтому не ресурсная, не военная и не экономическая, но манипулятивная победа За-

пада в «холодной войне» над СССР является, по сути, победой симуляции над реальностью ценностей Просвещения. Поэтому разрушение СССР можно оценить как первую революцию нового типа – революцию символического порядка, весьма опосредованно связанную с состоянием политических референтов, «политического реального».

«Нарушения разрушают границы; они уничтожают оппозиции или переворачивают их. Но недостаточно просто перевернуть оппозиции, нужно еще показать, что это легитимно. Иначе говоря, символическая революция может лишь тогда быть успешной, когда ей удастся установить и навязать другой принцип легитимного конструирования... Удачные символические революции разрушают *potos* – фундаментальный закон универсума, чтобы установить то, что Дюркгейм называет *anomie*, т.е. возможность для каждого устанавливать свой *potos*»¹. Иными словами, триумф Запада связан именно с тем, что Запад изменил правила игры, политического противостояния, совершив символическую революцию. Спор, который велся вокруг Модерна и Просвещения и был ограничен рамками этих проектов, Запад превратил в спор между Модерном и пост-Модерном, т.е. легитимировал для себя игру без правил, в то время как противник остался верен старым правилам, ценностям и целям в их «альтернативном варианте».

Если попытаться сконструировать алгоритм символической революции, то можно выделить следующие необходимые ее этапы.

1. Первый этап связан с релятивизацией базовых символов культурного ядра, скрепляющего общество. Терминология основного понятия здесь размыта и может быть весьма различной: базовый миф общества, цивилизационная парадигма, эпистема, идеология, символическая матрица и т.п.

Первоначально смысл базовых символов остается неизменным. Манипуляция заключается в смешении в общественном сознании структурных координат, организующих последовательное по-

¹ Бурдые П. Университетская докса и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos. М.: Socio-Logos. 1996. С. 22.

литическое мышление. Это может быть фрагментация, обытовление, мифогенез, смешение принципиального и второстепенного, всеобщего и частного, героизация, механизм моды, рост значимости повестки дня, т.е. «здесь и сейчас», изменение структуры потребностей, соблазн, психологическая фрустрация. Все это приводит к расслоению, гетерогенизации, центробежным тенденциям в обществе. Корпоративность побеждает национальную солидарность, затем групповые интересы, в свою очередь, побеждаются интересами частными. Суммарный рост и обострение общественных противоречий (экономических, национальных, социальных) представляет накопление потенциальной социальной энергии, которая может быть сфокусирована в один большой взрыв.

2. На втором этапе подвергаются сомнению принципиальные идеи, призванные скреплять фундамент общества. То есть идейное ядро и ключевые символы общества теряют легитимизирующий статус *potos-a* для новой социокультурной реальности. Общество оказывается в состоянии распада прежней структуры социальности, состоянии аномии. Базовые понятия лишаются статуса идейной реальности, реальности «второго порядка», организующей реальность политического действия. Эти понятия осиммулякруются, превращаются всего лишь в метафоры, лозунги, политические мифы, не отсылающие к политическому реальному.

Здесь же происходит вытеснение в массовом сознании интегрирующих политических символов базового ядра текучкой дня, как исключение из сознания эталонов, определяющих соразмерность масштабов событий и процессов, на основании которых выводится их оценка, значимость. То есть большинство населения теряет структурированный в голове ценностный контекст, систему координат, которая очерчивает, пусть даже смутно и неосознанно, целостную принципиальную устойчивую идеологическую схему, через которую пропускаются все факты, события, процессы.

3. Когда массовое сознание полностью сведено к актуальному, редуцировано рамками негативной в отношении исторической действительности повестки дня, становится возможным разрушение ключевых смыслов и ценностей. К примеру – «советской цивилизации».

Сначала они релятивизируются, потом разрушаются в частном и второстепенном, потом профанируются как сам принцип, стоящий за отдельными явлениями. Как правило, первые два этапа проходят скрытно и неявно. Третий этап в уже подготовленном массовом сознании воспринимается как неожиданность, откровение, а его поражающая столбняком эффективность является прямой функцией первых двух этапов. Одновременно с переинтерпретацией смыслов базовых символов идет подкоп под авторитет духовных инстанций, скрепляющих цивилизационную парадигму общества: армия, партия, школа, наука, литература, официальная история. Это выражается, например, в конфликте архетипов и актуальных «ситуативных» стереотипов, когда смешиваются и подменяются различные уровни восприятия и ценностей.

В качестве актуального примера можно привести фундаментальное противоречие этической доминанты политической культуры традиционного общества: взаимопомощь, коллективизм-общинность, солидарность, равенство – и противопоставляемых ей масс-медийных ситуационных стереотипов «протестантской этики», адресованных индивиду: модель конкурентной борьбы и выживания за счет других, завышенная самооценка, эгоцентризм, потребительский нарциссизм, денежная материализация ценностей – «оценивание» и т.п. Всеобщая этика, построенная на самоограничении, критикуется как тоталитарная, мешающая индивиду реализовать свои потребности в пользу модели «резинового тоталитаризма» – тоталитаризма потребительского общества.

Следует отметить, что только в ситуации манипуляционного отчуждения масс (большинства) от ключевых символов возможно уничтожение этих символов. В противном случае нападки на символы воспринимаются как оскорбление самого здравого смысла, попытка дискредитации святых, сакральных истин¹.

¹ В качестве актуального примера можно привести символическую революцию, разрушившую СССР. Перестройка и гласность как раз являлись теми низкоинтенсивными «фоновыми» технологиями, которые символически деформировали советский базовый миф и соответствующий ему

4. После смены контекста на место прежних очерченных символов встают и легитимируются новые. То, что вчера было очевидным абсурдом, стало абсурдной очевидностью. Но смена контекста, в который встраивается структура обыденного опыта, ведет к смене описательного метаязыка. Субъекту, видящему противоречия действительности и новой знаковой системы, ее отражающей, трудно высказать свои сомнения, поскольку нет молчаливого согласия, скрепляющего прежнюю (альтернативную) систему смыслов. Новая матрица смыслов навязывает свой язык, в котором прежний теоретический субъект либо самоотчуждается, принимая новый метаязык, либо замолкает.

5. Когда пантеон прежних символов разрушен, массовое сознание оказывается в новой, неожиданной культурной парадигме. Причем противники ее оказываются в подвешенном состоянии: они не в состоянии сменить культурно-символический контекст «нового» здравого смысла, молчаливо легитимирующего утверждения противников. Высказывания, критичные к переструктурированному базовому идеологическому ядру, уже неэффективны в опровержении частных утверждений. Они должны теперь всегда становиться на принципиальную высоту, бросая вызов принципам новой матрицы ценностей в целом. Иными словами, изменить новый фундаментальный *потос* общества теперь способна только очередная фундаментальная символическая революция.

В период СССР доминирующий в нем альтернативный метаязык Модерна в сжатом виде претерпел следующую трансформацию:

А) Критика капитализма. Сакральность коммунистической идеи, утопический хилиазм большевиков, сплавивших в новый базовый миф общества исторические православно-общинные идеалы и этическую критику капитализма. Референтным языком «извечных чаяний» народа вместо православно-этического стал экономико-этический язык, как дискурс, описывающий Модерн уже не в традиционных, а в идеологических категориях: классы, эксплуатация, справедливость, борьба, капитал.

универсум ценностей. Они подготовили общество к делегитимации базового мифа советского общества и восприятию его негативной критики.

Б) Нарастание самокритики базового советского мифа: 1. Как возврат к основателям, как исправление второстепенных недостатков, пороков роста, «перегибов» в реализации всемогущих доктрин и т.п. 2. Поворот всего цивилизационного пути развития, примат адаптации к «общечеловеческим» формам жизни. Евроцентризм. Преодоление доминанции экономико-этического языка марксизма, легитимирующего официальный политический дискурс. Осмысление советского как «патологического» с точки зрения панлогизма, т.е. единого по форме и содержанию пути развития человечества, представленного теорией глобализации.

Объяснение символического дефицита постперестройки вытекает в критическом метаязыке из констатации промежуточного политического состояния: советские символы дискредитированы, западные «универсальные» не приживаются. Поэтому нет ни целостной доминирующей системы символов, ни противостоящей ей альтернативы. Отсюда ностальгическая реконструкция властью советских символов как реконструкция единой легитимирующей культурной традиции. Ностальгическое восстановление символов прошлого вытесняет первоначальный этап радикальной деконструкции советского наследия, который не смог породить новой эффективной легитимирующей идеологии.

Поэтому «советское» фигурирует сегодня как симулякр, искусственно воссоздаваемый символический мир. В то же время «советское» модно и востребовано лишь как материал для создания новых политических идей именно потому, что оно «мертво». То есть в массовом сознании возврат к «советской реальности» стал окончательно нереальным. Но именно подобная ситуация открывает советскую реальность для интеллектуальных политико-конструирующих игр в постсоветском пространстве, в качестве значимой опоры для легитимирующих власть идеологов. Поскольку надежда прорваться обратно в «золотой советский век», похоже, оставила даже самих коммунистов, вместо призыва к революции, взрыву несправедливого социально-политического порядка остается лишь предаваться ностальгии о золотом веке: «В 1996 г. прыжок в прошлое представлялся преждевременным. Оно было слишком близко, в одном шаге. Возвращение коммунистов было реально. Мифу о

«светлом прошлом» негде было развернуться. Однако в 1999 г. возвращение в СССР было уже невозможно... В обществе стал зреть запрос на **символический возврат в СССР**»¹.

В условиях делегитимации Просвещения и Модерна можно наблюдать, что критический метаязык вновь актуализируется российской политикой в деле восстановления эффективного универсума символов, поиска новых легитимирующих и интегрирующих идеологем. И эффективным основанием этих символов выступает история, политическая онтология как отправная точка осмысляющих ее теорий.

Интуитивно российская власть добивается эффективности и легитимности, следуя именно ряду противоречащих современности, но, тем не менее, эффективных традиционных культурных архетипов, содержащихся в латентном виде в этой современности. Например, концепт органического народа-государства противостоит здесь концепту вторичного гражданского общества, которое предполагает в качестве своего условия разбивку на индивидов-атомов и последующую сборку «идеологического трансформера» Модерна. Беспартийность Президента знаменует вполне сознательную пиаровскую установку на видимость целостности традиционного общества-семьи. И эта норма является приоритетной перед «раскольническими» идеологическими членениями органического общества на партии, классы, институты «гражданского общества».

С советских времен сохраняют силу оценки легитимности политиков не в юридических категориях выполнения/невыполнения «договора», но в этических категориях «верности-измены»: партии, рынку, общему делу, народу. Неразвитость партий, правовых институтов «сутяжничества», вторичность публичных политических процедур, в контрасте с компенсаторной эффективностью «закулисных», непубличных, теневых способов решения политических проблем и достижения компромиссов, связаны с сохранением значимости символа единого общества, которому «служит» любая партия, даже если ее задачи реально противоречат интересам большинства.

¹ Цуладзе А. Цит соч. С. 37.

Более того, делегитимация политических мифов ельцинской эпохи, их нарастающее несоответствие действительности сопровождалось отсутствием у власти значимых легитимирующих идеологем в «капиталистическом настоящем». Собственно попытка практической реализации мифа или утопии, их отождествление с реальностью означает их демифологизацию, т.е. разрушение в качестве таковых. В этом смысле советский миф неуязвим в настоящем, поскольку принадлежит прошлому. Достаточно отметить, в качестве примера, лишь смену ключевого ельцинского либерального мифа о сверхценности демократии и свободы путинской реконструкцией политической риторики и символики, связанной с мифом о справедливом (т.е., фактически, социалистическом) государстве. Причем в последнем случае советская риторика, понятная большинству населения, никак не коррелирует с реальным либеральным политико-экономическим императивом, образуя для него лишь алиби, прикрытие.

Отсутствие аутентичной политической макротеории (советская – дискредитирована, западная – отчуждается), порождает в обществе тяжелое состояние всеобщей фрустрации, разрыва мыслимого и видимого, нормативного и реального. Прагматический политический императив и постановка технических целей: удвоить ВВП, усилить экономический рост, поднять зарплаты, снизить налоги, является на поверку ситуативным, а ситуация, возникающая в результате, оказывается «политикой **отложенного стратегического выбора**. Но рано или поздно выбор делать все же придется»¹.

Интенция критического метаязыка связана с тем, что выработать новый базовый политический миф и адекватный ему ценностный метаязык общества можно только исходя из рефлексии над собственной цивилизационной матрицей. И главными структурирующими категориями в этой матрице, по мнению носителей цивилизационно-критического метаязыка, должны быть все же не соразмерные и приоритетные для индивида либеральные понятия права, свободы, рынка, собственности, конкуренции, но скорее превосходящие человека в его субъективном жизненном мире, вы-

¹ Цуладзе А. Цит соч. С. 347.

водящие за границы частного, традиционные холистские смыслы справедливости, долга, служения, солидарности, ответственности, государства. Только в таком случае в постперестроечном «человеке массы» может воскреснуть политический субъект. Однако манипулятивная форма постидеологической символической политики предполагает свертывание в человеке субъектности, внутреннего пространства свободы как источника непредсказуемости и неподконтрольности.

Для критического метаязыка символы, организующие российский политический Космос, все еще носят печать целостности разрушающегося общества «традиционного Модерна». Однако выводы критического метаязыка пессимистичны в том, что ценностно-культурные ограничители не отменяют главной политической тенденции – закрепления России в будущем как расколотого общества. При этом радикальность делегитимации российской политической власти отчасти смягчена «имплозией масс» и стремлением власти придерживаться традиционной архетипики в идейном пространстве еще полусоветской политической культуры российского общества. Однако разрушение традиционного политического пространства, символически оформленного как Космос, не приводит автоматически к согласию общества относительно универсальных или национальных ценностей, которые формально «озвучиваются» в виртуальном пространстве масс-медиа, но содержательно обществом (культурой) не воспринимаются.

Например, национально-государственные интересы, всегда совпадающие с интересами правящего класса, могут противоречить общественным интересам большинства населения. Отсюда проблематичность построения «общепримирающей национальной идеологии» без предварительного социального выравнивания, гомогенизации государственных, классовых и общественных политических дискурсов, с тем чтобы найти точки соприкосновения и хотя бы понимать политический язык друг друга.

В настоящее же время негативные процессы постперестройки очевидны: закрытие элит; ориентация социальных институтов на воспроизводство классового общества (школа, партии, армия, университет); переход от общенародной культуры к мозаично-

сегментированной – деление на массовость-элитарность; православно-коммунистический архетип коллективного спасения души, спасения «всем миром», все более уступает экспансии экономикоцентричных моделей личного успеха, предопределенности и избранности, оправдывающих, в свою очередь, ценностный приоритет конкурентных моделей человека над солидарными; превращение «служащих работников» (народу, государству, идее) в «обслуживающих специалистов» и т.п. В рамках цивилизационно-критической парадигмы считается, что экстремальное либертарианское видение мира российской элитой, где государство воспринимается только как полицейский гарант частной собственности, ограничитель свободы, и враждебный судья в жестокой конкурентной борьбе за материальные блага, совершенно оторвано от традиционной политической матрицы, где главные ценности – справедливость и равенство, а государство – инструмент их обеспечения.

Кроме того, Россия в ментальном плане все более раскалывается на «внутренний Запад», политический дискурс которого преобладает в крупных городах, и «внутренний Восток», включающий практически всю российскую глубину¹. Причем пространственно-топологический раскол дополняется аналогичным расколом по социальной вертикали общества, на духовно европеизированную, глобализированную элиту с ее модернизационно-тавтологическим метаязыком и традиционное по своим политическим ценностям население.

Раскол проходит и внутри политических наук. Фрагментация гомогенного политического ценностного пространства, довольно однородной культуры советского периода приводит к уже начавшемуся воспроизводству расколотости как различных моделей габитусов (инкорпорированных социальностей) у разных социальных групп². Более того, антагонизм и несовместимость этих моделей

¹ Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество // ПОЛИС. 2001. № 3. С. 84.

² Габитус – понятие, призванное разрешить методологическое противоречие холизма/индивидуализма, объективной структуры общества/субъективности действующего в политическом поле агента. Габитус рассматри-

дополняется герметизацией новых социальных групп, составляющих российское общество. Это приводит к сужению видимого и понимаемого человеком социального пространства, потере самой способности воспроизвести и адекватно понять видение социального мира представителей иного социального слоя, иной социальной группы. Альтернативные политические дискурсы, имеющие место в обществе, уже неподвластны пониманию доминирующего габитуса закрытой элиты (субъект власти) и часто вообще выпадают из поля зрения власти. Тавтологический дискурс власти замкнут и самодостаточен. Она не озабочена интеграцией альтернативных стратегий поведения различных частей общества, так как у этих групп на данный момент нет реальных механизмов влияния на власть.

Иными словами, человек в нетрадиционном обществе инкорпорирует не социальность и моральность всего традиционного общества, но лишь той части, к которой принадлежит. Отсюда происходят неприятные и неожиданные эффекты «незнания общества, в котором живем», и эффект гипостазирования, т.е. отождествления и переноса частных умозрительных конструкций на политическую реальность всего общества, при незнании последнего. Расхождение коммуникативных кодов знания (истины) внутри социально неоднородного политологического сообщества также усиливается.

Более того, указывается, что подобный раскол внутреннего политического поля вовсе не «нормален», не свойственен социально и экономически относительно гомогенному современному Западу, которому ее пытается приписать транзитологический метаязык: «Советская система распределения благ была очень близка по духу системе распределения в западном мире. Вот почему всякое отступление от нее в сторону отказа от “социальных гарантий” есть отступление не от советского социализма, а от современного западного общества. Это не движение вперед, а откат назад... Эта проблема, как считают наблюдатели, явилась одной

вается П. Бурдьё как инкорпорированная агентом социальность, «индивидуация социальности» или же «социализация индивидуальности», осуществляемая в ходе политической практики.

из главных причин прихода к власти партий левой ориентации в 13 из 15 европейских стран»¹. Одновременно в России: «Число тех, кто предпочитают социализм капитализму (несмотря на официальную пропаганду), около 50% [ВЦИОМ]. Только одна треть предпочитает западную модель»². Более того, «Проблемы социальной справедливости, защиты обездоленных, всегда столь важные для российского политического дискурса и ставшие центром полемики – “либералов” и “коммунитариев” на Западе, практически не обсуждаются ни научным сообществом, ни российскими масс-медиа»³. Таким образом, доминирующий энкратический метаязык оказывается для значительной части населения просто непонятым, они из него выключены, а промежуточные инстанции объяснения отсутствуют. И это непонимание власти и основной части общества взаимно, будучи выражено в десоциализации первой и маргинализации второй.

В условиях дискредитации и делегитимации модернизационного метаязыка, опиравшегося на концепт «реформ», закономерен, с одной стороны, рост «символического капитала» и релевантности критического метаязыка по отношению к российской политической действительности, с другой – рост интереса власти к тому, чтобы дискурсом этого метаязыка овладеть.

Проблема в том, что условием эффективности, устойчивости и легитимности существующего политического строя, вне зависимости от его идеологических самоописаний: демократия-тоталитаризм, республика-монархия, современность-традиционность, является субъективное содержательное соответствие наличных политических форм и институтов – ценностям и интересам большинства населения, т.е. общества в целом. Критический метаязык политической науки, будучи акратическим, смог уловить и объяснить фундаментальные расхождения цивилизационных ценностей россий-

¹ Шляпентох В.Э. Равенство и справедливость в России и США // URL <http://www.lebed.com>.

² Шляпентох В.Э. Многоукладная Россия: перспективы для анализа // URL <http://www.lebed.com>. Лебедь, № 35 от 27.09.97 г.

³ Ачкасов В.А. Россия как разрушающееся традиционное общество. С. 86.

ского политического универсума и содержания формируемой «сверху» политической системы.

Иными словами, создается «ложный круг»: ситуацию отсутствия критики, сопротивления и активности масс невозможно объяснить в рамках классических политических теорий иначе как феноменом «имплозии масс», а также тем, что формальная политическая система с ее институтами, законами и ценностями не имеет значимого содержания и просто субъективно игнорируется в массовом сознании как некий весьма второстепенный и незначительный фактор воздействия на реальную жизнь. То есть уровень влияния формальной политической системы на условия жизни в массовом сознании оценивается как весьма незначительный. С другой стороны, отсутствие социального взрыва интерпретируется властной элитой как молчаливое согласие масс с проведенными реформами и текущим политическим курсом.

Диагноз критического метаязыка в отношении нынешней России заключается в том, что она попала в ситуацию «межвременья», когда из традиционной идеалтипической культурной модели политики вынут скрепляющий стержень ценностей «базового мифа» общества, когда «порвалась связь времен», поэтому весь историко-политический контекст сузился до «тирании настоящего времени». Господство в политическом пространстве тавтологического метаязыка власти с его дискурсом повседневности, текущей повестки дня: отдать долги, сверстать бюджет, проиндексировать зарплату, стипендии, пенсии, – лишило политическую реальность утопического элемента, необходимо для ее развития. Критический метаязык пытается эту утопическую функцию восполнить, ставя для России стратегические сверхзадачи, связанные с ее историческим предназначением (православие, панславянство, восстановление империи и т.п.).

Как отмечал еще в 1990 г. социолог В. Шляпентох, «...современное советское общество – общество, абсолютно лишенное мифов... Для общества этот период всеобщей фрустрации очень тяжел»¹. Еще в советское время произошла профанизация

¹ Карцева Н. Общество, лишенное мифов // СОЦИС. 1991. № 1. С. 157.

базового идеального мифа общества. Вместо глобального построения коммунизма было предложено, например, «догнать Запад», «внедрить демократические процедуры», устроить «разделение властей и многопартийность», «внедрить хозрасчет» и т.п. Дело тут вовсе не в осуществимости проекта. Проблема в редуccionизме, сведении символического к профанному, когда проблема выбора пути подменяется проблемой выбора транспорта или желаемой остановки. До сих пор нового мифа на месте советского не возникло, а используемые властью постсоветские мифы явно или скрыто входят в противоречие с культурной матрицей «советской цивилизации».

Проблема в том, что властного субъекта устраивает сложившаяся политическая ситуация. Он заинтересован в ее стабилизации, в условиях отсутствия достойных противников внутри политического поля. Ни народ, ни «молчащие массы», ни институты гражданского общества, ни рабочий класс (трудящиеся) не проявляют никаких признаков субъектности и политической активности в борьбе за свои интересы, ценности, права. Скорее, наоборот, произошло разрушение субъектности и влиятельности масс, низов, народа. Реальная политическая культура трансформируется из культуры подчинения в культуру «наблюдателей» с разрывами прежних механизмов включения в политику и постепенным угасанием субъективного интереса «электората» к политическому действию. Самоописание масс становится самоописанием объекта, но с потерей веры в патернализм, обмениваемого ранее на идеологическую верность политическому субъекту.

Кроме того, состояние «политической аномии» для индивида может стать естественным и необратимым. Поэтому никакие потрясения и катастрофы уже не способны вернуть его обратно (ресоциализация, реидеологизация) в общество, в качестве политического субъекта. Гуманистическая политическая мораль дает фундамент для легитимации подобной позиции. Признавая в качестве главной и неотъемлемой ценности человека его жизнь, общество не имеет права предъявить каких-либо других, превосходящих жизнь ценностей и убедительных доводов, в соответствии с которыми человек «должен» подвергнуть свою жизнь смертельной угрозе во

имя неких надындивидуальных ценностей: Родина, государство, социальная справедливость, политические свободы и т.д., так как они для него второстепенны в сравнении с собственной жизнью. Однако нельзя не заметить, что политика возможна только когда человек выходит из сферы частного в сферу всеобщего интереса, ключевым организационным институтом которого является все же не гражданское общество, представляющее механическую сумму совокупного частного интереса, а государство, приводящее общество в «политическое состояние».

«Смерть политического» в идеологической модели политики реализуется как отсутствие политически значимых субъектов «вне власти», помимо самого субъекта власти, как общее падение массовой субъектности снизу, неучастие в публичной политике. Здесь и возникает конец «классического политического состояния» как идеологической политики. Вырисовывается новая политическая ситуация, суть которой состоит в симуляции, «последствиях» ценностей, институтов, теоретических представлений классического Модерна: ситуация и состояние пост-Модерна.

Символический метаязык: парадигма глобализации

Если Постмодернизм представляет симуляцию, «последствие» ценностей Модерна, то глобальный политико-экономический порядок связан с концепцией неолиберализма, когда политические ценности Просвещения и Модерна не критикуются и переосмысляются, но прямо отрицаются.

Аксиома символического метаязыка заключается в том, что социальная реальность актуального Постмодерна больше не может быть адекватно отражена на традиционном языке «больших идеологий» и утопий. Как тавтология, так и парадокс начинают бить мимо цели и во все меньшей степени соотноситься с чем-то политически реальным, вроде классов или других политических субъектов.

Отличие парадигмы глобализации от критической теории цивилизации в том, что она наносит удар по национальному как форме реализации универсального ценностного порядка Просвещения, т.е. звену, которое сплачивает все более расходящиеся в современ-

ности политические уровни глобального и локального. Она связана с делегитимацией нации-государства, которое теряет политический суверенитет (теория ограниченного суверенитета) и превосходится в ходе транснационализации политики, регулируемой международной интеграции. Отсюда логически следует отрицание значимости национально-государственной специфики, нейтрализация нации-государства как основного участника политического процесса. Вследствие этого происходит провисание всей структуры современной политической системы, сложившейся в условиях Модерна. Теория глобализации, направленная на поиск рецептов для человечества в целом, странным образом приводит к унификации не только политических ценностей, но и способов их реализации во всемирном масштабе. Глобализм, направленный на предельно универсальное измерение политического, оказывается по своим результатам парадоксально локализирующим.

Глобализация в связке человек – нация – человечество, соответствующей связке этнос-государство – глобальность (транснациональное, трансидеологическое), выбивает среднюю ступень политической организации нация-государство, на котором строился универсализм Просвещения и Модерна. В результате вместе с интеграцией на основе «общечеловеческих» транснациональных ценностей и институтов происходит разрушение политического суверенитета и субъектности наций-государств как изнутри, так и снаружи, что часто ведет к падению уровня политической самоидентификации индивидов к догосударственному и донациональному (этническому). Глобализация оборачивается архаизацией, разрушением просвещенческого проекта через различные версии пост-Модерна. Метаязык глобализма упраздняет фундаментальный для Просвещения концепт демократии с ее легитимацией политической власти народами. Метаязык глобализации связан с сознательным разрушением легитимности исторической эпистемы Просвещения, ее делегитимацией через различные концепции «конца истории», постструктурализма, деконструкции и языковых игр. Под знаком кризиса производится деконструкция идеологий, наций, государств в пользу транснационализма, своего рода «глобального корпоративного неофеодализма».

Следует оговориться, что, на самом деле, реальная значимость теорий Постмодерна в контексте глобализации связана лишь со вспомогательной, легитимирующей функцией идеологии экономикоцентричного неолиберализма¹. Постмодерн лишь легитимирует, вольно или невольно, культурную ситуацию неолиберализма.

Логика глобализма основана на привилегированной референции политического экономикоцентризма, псевдоуниверсальной логике чистого Капитала, представляя собой своего рода «глобальную Реформацию» с господством меновой стоимости, которую не сдерживают уже никакие этические, исторические, культурные ограничения и различия. Политика подчиняется меж- и транснациональным экономическим структурам, противопоставляющим себя государству. Эти структуры претендуют на роль ключевых субъектов мировой политики, подчиня своим стратегиям целые государства и регионы. Политические ценности всегда функциональны, т.е. подчинены интересам доминирующего политического субъекта. В процессе глобализации политики можно наблюдать смену стержня национально-государственного интереса ценностями полностью дегуманизированной чистой логики прибыли, капитала, конкуренции, — особенно явную в странах, не входящих в «золотой миллиард».

Необходимо различать глобализацию и интернационализацию, поскольку эти понятия не синонимичны, но взаимоисключаемы. Процесс интернационализации связан с активно расширяющимся, начиная с XX в., взаимодействием наций-государств на международной политической арене, межгосударственной экономической интеграцией. В качестве политического субъекта здесь выступают нации-государства. Глобализация, наоборот, подчеркивает, что в современных условиях нации-государства не являются единственными значимыми политическими субъектами мировой политики². Появляются новые значимые политические акторы, которые действуют не только помимо, но и осознанно вопреки интересам сложившихся наций-государств.

¹ См. подр. критику концепции неолиберализма: *Хомский Н.* Прибыль на людях. Неолиберализм и мировой порядок. М.: Праксис, 2002.

² См. подр.: *Арин О.А.* Мир без России. М.: ЭКСМО, 2002. С. 288-346.

Глобализация, в отличие от относительно объективных процессов экономической интернационализации, когда потоки капитала и людей, технологические цепочки выходят за пределы национальных границ, носит субъективный, управляемый характер. Единственным субъектом глобализации в мировом масштабе выступает постиндустриальный «золотой миллиард», действующий через доминирование в международных организациях (МВФ, ВТО, ООН, МБРР и др.), МНК и ТНК. Остальной мир участвует в процессах глобализации лишь в качестве объекта глобализации, т.е. обыкновенной эксплуатации, будь то эксплуатация Труда в индустриальных экономиках «второго мира» или помноженная на сырьевую эксплуатация ресурсов стран «третьего мира». Глобализированные экономические, религиозные, космополитические элиты уже не соотносят себя с теми или иными конкретными нациями-государствами, не нуждаются в своей легитимации волеизъявлением местного населения.

Кроме того, политическая глобализация обнаружила, что в мировом контексте столь удачное и естественное для Запада слияние нации и государства оказывается вовсе не универсальным и не естественным. Исторический характер этого тождества проблематизирует дальнейшую судьбу нации-государства как доминирующей политической формы общества, основного субъекта международной политики.

Разрушение государств и наций связано с антропологической акцентуацией политических ценностей на абстрактном индивиде, одновременно с игнорированием любых исторических, национальных, социальных, экономических и прочих культурных сред, в которых реально находится человек, которые детерминируют его поведение. Глобализация формализует политику, устраняя все уникальные политические инстанции, в своем стремлении очистить человека от любых культурных сред, в которых он находится. Отличия людей и их групп, выходящие за пределы этой логики «глобальной Реформации», осмысляются как свидетельство неполноценности и неразвитости, которые необходимо преодолеть. Метаязык глобализации представляет собой метаязык теории модернизации, доведенный до своего предельного, глобального уровня: автономизированный от

политической ситуации Запада, отрекшийся от апологии наций-государств и классической эпистемы Просвещения и Модерна.

Метаязык глобализма символичен в том смысле, что в нем всегда есть некая двойственность, множественность смысла двойного, «расслаивающегося» метаязыка. Многофакторность процессов глобализации/локализации, которые легко инвертируются в свою противоположность, с точки зрения того, какие составляющие этих процессов считать более значимыми, прежде всего упраздняет любое универсальное пространство ценностей и соответствующую ему модель политического метаязыка. Речь в данном случае должна идти именно о состоянии полилога, многоголосия метаязыков политических субъектов (этносов, государств, цивилизаций, классов, религий), каждый из которых открывает свою истину глобализации. В связи с этим необходимость встраивания уже существующих политологических метаязыков в глобальный контекст ведет к их кризису. Прежние критико-идеологические метаязыки политики, претендующие на универсальное, вынуждены быть релевантными уже на местном-национальном-цивилизационном-глобальном уровнях, что приводит к их внутренним противоречиям и ретроспективной переоценке своей эффективности на тех уровнях политического, где ранее они были значимы и релевантны. Иными словами, нивелирующая в пользу глобального единообразия все противоречия более низкого политического уровня парадигма глобализации разрушает прежде всего уже сложившиеся политологические метаязыки: тавтологический (модернизационная парадигма) и критический (цивилизационная парадигма).

В глобальной парадигме наиболее эффективной становится мифологическая структура политологического метаязыка, нечувствительного к собственным противоречиям и критике, обладающего внутренними резервами множественности смысла, способностью к инвертации значений и понятий, в зависимости от уровня интерпретации, адресата и т.д. Мифологический метаязык негативен в том смысле, что отрицает как универсальную ценность Просвещения (трансидеологичность), так и ценность критики (нечувствительность к критике).

Глобалистский метаязык политической науки начинает активно осуществлять захват символа как техники, позволяющей ему эффективно функционировать в постиндустриальной, информационной среде политики. Причины популярности парадигмы глобализации довольно очевидны. Критический метаязык, открывший обратную сторону тавтологических политических понятий, легитимировал символическую стратегию власти, которая, в свою очередь, деидеологизировала в дальнейшем ситуацию мышления в постсовременной политике.

Постидеологическое состояние политики связано с выносом в центр политического дискурса концепций особенного и различий, затушевываемых ранее в интересах универсальности доминировавшего дискурса идеологии. Постмодерн вывел на первый план разного рода и генезиса противоречия, а также общности-субъекты, оформляющиеся на этих основаниях. В то же время идеологические границы, оформлявшие политическое пространство во времена холодной войны, отходят на второй план, становятся неактуальными. Идеологическая составляющая начинает носить скорее маргинально-вспомогательный, нежели определяющий характер. Глобализация власти в современном мире, соответственно, вызвала и глобализацию критики власти. Основания этой критики уже не связаны с политической ситуацией на Западе и носят многосоставный характер, их объединение происходит, прежде всего, через сам объект критики, а не в силу сходств оснований для нее.

Причем метафора глобализирующихся политик, экономик, культур, обществ связана сегодня уже не с властной пирамидальной вертикалью, но с популярной в научной литературе топологией горизонтальных сетей: экономических, политических, информационных, охватывающих весь мир целиком. «Развитие глобальных сетей приводит к ситуации, когда власть структуры становится сильнее структуры самой власти, т.е. социальная морфология доминирует над социальным действием»¹.

¹ *Мясникова Л.А.* Экономика постмодерна и отношения собственности // Вопросы философии. 2002. № 7. С. 10.

Конфликт глобалистов и антиглобалистов, по сути, есть конфликт транзитологического метаязыка либерализма, взятого в своем предельном глобальном масштабе, и символического по отношению к ней мировоззрения, где национальные, культурные, географические отличия национальных экономик обуславливают невозможность объединения на нормативных истинах демократии, свободы и капитала. Если глобализм реализует ценности «универсального» для всех участников неолиберального экономического порядка, за которым стоят, прежде всего, интересы стран «золотого миллиарда» и транснациональные интересы ТНК, то антиглобалисты указывают на его неуниверсальность и особенность, через явное противоречие этическим, историческим, национальным, экономическим принципам укладов незападных экономик, где устранение особенностей этих укладов фактически означает крах основанных на них экономик и политик.

Можно отметить, что правота глобалистов/антиглобалистов относительно позитивных/негативных эффектов глобализации зависит от того, на ком («первый», «второй» «третий» миры; центр, полупериферия, периферия) иллюстрируются издержки/выгоды глобализации. Нетрудно заметить, что экономическая глобализация формирует мировое разделение Труда и Капитала, где страны Капитала получают сверхприбыль за счет людской и сырьевой эксплуатации под видом «свободной конкуренции» слабых стран Труда, не входящих в «ядро глобализационных процессов». Более того, конкуренция стран второго и третьего мира за потоки глобальных инвестиций истощает эти страны, лишает ресурсов для самостоятельного, национально ориентированного развития. Эти страны, не входящие в центр глобализационных процессов, открывая свои границы для свободных потоков капиталов, устраняясь от регулирования собственной экономики, оказываются зависимыми от центра, который, наоборот, находится вне конкуренции, регулируя мировую экономику с помощью протекционистских мер и различных асимметричных, недемократических международных организаций, устанавливающих для разных стран неравные условия вступления в торговые соглашения, неравные условия по кредитам. Речь идет о таких организациях, как ВТО, МВФ, МБРР и др.

Неолиберальный экономический порядок представляет собой повторение на новом витке колониального порядка. Ф. Бродель писал о том, что «Запад построил себя из материала колоний». Сегодня расширенный Запад – «золотой миллиард» – выстраивает глобальный экономический порядок за счет эксплуатации периферии, подавляющего большинства населения планеты. Надежды периферии «жить как в центре» тщетны, поскольку центр существует не сам по себе, а за счет подобной асимметричной структуры. И рассуждения постструктуралистов о том, что центр всегда за пределами, трансцендентен, в отношении легитимизируемой им структуры, выглядят вполне актуальными, так же как и предложение не искать центр, а разрушать его, т.е. децентрировать структуру.

Структурировать очерченные в данном параграфе бинарные оппозиции энкратических/акратических политологических понятий, предназначенных для непосредственной интерпретации политики, можно в виде следующей таблицы 4.

§ 2. Конфликт метаязыков: возможна ли новая (синтетическая) модель метаязыка?

Таким образом, итоговый вывод состоит в том, что в отечественной политической науке предложенная нами актуальная структура метаязыков реализуется в содержательном плане в виде ряда парадигм, легко извлекаемых из корпуса политических/политологических текстов.

Ключевой для структуры тавтологического метаязыка является парадигма модернизации, с ее сверхценностью транзита от тоталитаризма к демократии и «цивилизованному обществу» путем проведения «реформ». Эта парадигма имеет явный «прогрессорский» подтекст, причем «золотой век» в ней не имеет характера утопии. Наоборот, он предельно приземлен и материализован топологически, как бы это ни скрывалось, в виде нормативной политической реальности Запада.

В целом проект Просвещения и тавтологическая модель метаязыка лежат в основе современной политической науки. Ее кризис в данном случае указывает на появление новой ситуации мыш-

Таблица 4

Политика	
«Левые»	«Правые»
Эксплуатируемые (масса)	Эксплуататоры (буржуазия, элита)
Неразделимость знания и власти	Автономия политического знания от власти, науки от политики
Трансценденция политики (сакрализация)	Имманентизация политики (профанация)
Оппозиция	Власть
Труд	Капитал
План	Рынок
Государство	Гражданское общество
Национализация	Приватизация
Равенство	Свобода
Демократия	Либерализм
Этика (долг)	Право (закон)
Аксиологичность политических решений	Технологичность (телеологичность) политических решений
Справедливость	Эффективность
«Общее благо»	Утилитаризм, прибыль, выгода
Политика как «всеобщее дело», политический дилетантизм	Профессионализация политики
«Большинство всегда право» (прямая демократия) «Vox populi»	«Решает избранное меньшинство» (ограниченная, элитарная, непрямая демократия) Мнение экспертов
Классовые интересы первичны по отношению к национальными (общественным, государственным) интересам	Национальная «общепримирующая» идеология выше классовых интересов
«Большая политика»	«Малая политика»
Социоцентризм. Автономия политики (государства) от экономики	Экономикоцентризм. Подчинение политики (государства) экономике
Политэкономия	«Экономикс»
Активная регулирующая, перераспределяющая роль государства (кейнсианство)	Пассивное государство на страже «естественных» законов социума и рынка (неолиберализм)

ления в политике, смену политического контекста, требующую обновления привычных теоретических аппаратов. Кризис означает утрату безусловного доминирования тавтологической модели метаязыка в современной политике, когда классическая позитивистская методология становится лишь «одной из возможных» в политической науке, но не единственно возможной. «Научность» оказывается достижимой в рамках различных языковых игр, помимо классических, с собственными автономными критериями релевантности.

Однако внутри тавтологической модели подобное положение действительно осмысляется как патологическое и исключительное,

поскольку тавтологический метаязык построен на утверждении единственно возможной объективной истины. Выявление субъективных, нормативных основ подобного стиля мышления, его связь с контекстом конкретной культурно-исторической ситуации и действующим в ней политическим субъектом, осмысляется в рамках этой модели как катастрофа, так как означает, следуя логике данной модели, превращение научного знания, основанного на автономии кода научной истины от политики, в знание идеологическое, обусловленное интересами значимых политических субъектов. В то же время для других моделей метаязыка политической науки ангажированность теоретического субъекта политической науки определенными политическими субъектами, культурно-исторической ситуацией политики, аксиологичностью политического знания является вполне нормальным состоянием. Актуальный субъективно-идеалистический характер Постмодернизма как раз и характеризуется признанием права на статус «научности» идей любых субъектов политической теории, так как они равновелики, а также констатацией отсутствия внутри любой политической теории критериев определения объективности, которые с равным правом можно было бы распространить на политическую науку вообще. Если политическая теория объективна, то это лишь внутренняя объективность, заданная согласием теоретиков внутри нее самой.

Структура парадоксально-критического метаязыка содержательно реализуется в рамках парадигмы цивилизации. Она имеет «реваншистский» характер» и связана с критикой доминирующего транзитологического дискурса. Ее утопический проект исходит из того, что «могло бы быть», т.е. апологетики «своего пути», будь то версия Альтернативного (традиционного) Модерна, которым был СССР, самодостаточная автаркия или геополитическое построение Евразийской цивилизации, Православной цивилизации или русского суперэтнуса, которое является историческим предназначением, судьбой России. Наконец, нарративно-символическому метаязыку соответствует парадигма глобализации, ценностная аксиома которой связана с переходом к состоянию Постмодерна, в рамках которого меняется сама природа социальности и политики. Их эффективное конструирование в политической теории связывается с про-

цессами постиндустриализации, информатизации, транснационализации, виртуализации и политическими стратегиями, детерминированными электронными средствами масс-медиа, Интернетом и т.п., оформляющими своего рода электронное публичное пространство, которое, одновременно, и симулирует реальное политическое бытие, и предвосхищает политическую реальность. При этом политическая власть становится анонимной, обезличенной, десубъективированной, а линейность массовых коммуникаций, наоборот, сменяется их молекулярностью, адресностью и дифференциацией.

На наш взгляд, доминирующий модернизационный метаязык отечественной политической науки, связанный с «классической эпистемой», пришел в теоретико-практическую негодность еще тогда, когда он формулировался в рамках прогрессистской парадигмы капитализм-социализм. Альтернативная ему модель «внешнего метаязыка» Запада, оперирующая латентно моралистическими категориями демократия-тоталитаризм, свобода-несвобода, традиционное-современное, аграрное-индустриальное и т.п., утратила релевантность одновременно со своим идеологическим антиподом.

Доминирование одного из перечисленных метаязыков вовсе не означает отсутствия в политическом дискурсе других. Сегодня они в полной мере представлены в отечественной политологии в рамках различных подходов и парадигм. Политологический метаязык может быть внешним (политическая теория) – посвященным речи о политическом как объекте, и внутренним метаязыком, предназначенным для медитации над сущностью и инструментарием самого субъекта исследования, построенной на «объективации объективирующего субъекта» (П. Бурдьё). Здесь мысль направлена, прежде всего, на условия как объективного, так и субъективного характера, детерминирующие размышления о политическом. Не только расположение внутри политического поля, но и мера саморефлексии исследователя определяют его фундаментальную склонность к определенному методу познания политического.

В транзитологическом метаязыке рефлексия обычно минимальна, исследования носят в основном эмпирико-прикладной характер, т.е. заключаются в: а) переводе теории среднего или макроуровня на «язык родных осин»; б) переносе и применении этой тео-

рии к «родной» социокультурной реальности; в) отборе фактов, когда результат наблюдения «обязан» подтвердить ее универсальную значимость.

Стратегия исследования направлена на заимствование универсальных политологических догм, накопленных «мировой» политической наукой. Прежде всего, речь идет о «технической» англосаксонской модели политологии, где при анализе политической реальности не ставятся под вопрос ценности, с помощью которых ведется этот анализ, так как это считается уже задачей политической философии¹. Считается, что истина, метод и инструментарий уже выработаны, политические ценности универсальны, задача состоит лишь в «усвоении» и «приложении».

С герменевтических позиций этот подход ведет как раз к разрушению уникальной социополитической реальности, к ее искажению чуждыми культурными фильтрами, а вовсе не к ее познанию. Упования тавтологического метаязыка на культурный синтез отрицаются как манипулятивная уловка, так как здесь отождествляются технологическая модернизация (универсум техники) с культурным слиянием. Но обмен и взаимное обогащение не означают слияния, так как в ценностях и заключена суть политических различий. Ценности иррациональны и не универсальны, они не сочетаются, тут господствует формальная логика «исключенного третьего». Поэтому критический метаязык выносит однозначный приговор: если отечественное политологическое сообщество без рефлексии перенимает политические ценности и политический метаязык Запада, то Россия исчезает как особая, способная к самоосмыслению цивилизация, в которой субъектом этого самоосмысления выступает собственная политическая наука.

Сегодня можно констатировать, что подавляющее число центров политической науки в России, особенно учебные центры, восприняли в качестве нормативной англосаксонскую модель политической науки, методологически описываемую нами как тавтологическая модель метаязыка политической науки. В этом смысле сего-

¹ См. подр.: Казанцев А.А. Политическая наука: проблема методологической рефлексии. С. 53-54.

дня внутри российского политологического сообщества разнятся скорее сложившиеся «моды», области и направления, специализация политических исследований, но не методология. Например, нельзя не отметить, что до недавнего времени дискурс большей части «фондовых» и «грантовых» работ был ориентирован на политическую транзитологию и жесткую идеологическую парадигму модернизации, бинарные пары: тоталитаризм-демократия, план-рынок, негражданское-гражданское и т.п., а также на модную «западную» гендерную, феминистскую, сетевую, глобализационную, постмодернистскую проблематику, почти не актуальную в условиях современной российской действительности.

Вообще методологическим проблемам политической науки посвящено весьма малое количество научных работ, притом что актуальность методологии растет и даже постепенно выходит на первый план в актуальной российской политологии. Вместе с тем следует отметить, что существует принципиальное и существенное различие англосаксонской и континентально-европейской методологических и даже мировоззренческих традиций политической науки. Этот антагонизм во многом соответствует описанному в нашем исследовании противостоянию тавтологической и парадоксальной моделей метаязыка политической науки, представленному двумя упомянутыми выше порождающими пространствами политической науки.

В целом ироническое размывание Постмодерном идеологических понятий Модерна до предельно широких, т.е. манипулятивных, значений указывает на тенденцию обесценивания и обесмысливания ценностей, которые они призваны выражать. Подобная рыхлость ценностей не могла не привести к нарастающему расслоению понятий и смыслов политического метаязыка глобализма на «внешний» и «внутренний»¹. Это расслоение структурно и содержательно вроде бы одного и того же метаязыка, одних и тех же посланий, в зависимости от адресата («свои» и «чужие»), проявляется в росте расхождений «плана содержания» и «плана выражения» политической речи, превалировании контекста над

¹ Панарин А.С. Испытание глобализмом. С. 11-16.

текстом, риторики над аналитикой, коннотации над денотацией, визуальности над текстуальностью. Внешний метаязык глобальной парадигмы основан на симуляции общепринятых ценностей Просвещения, внутренний описывает реальный смысл происходящего и не предназначен к массовому тиражированию. Наблюдение «внешними» адресатами нестыковок внутреннего и внешнего планов политического метаязыка глобализма ведет к его десакрализации и делегитимации.

Язык, бывший, возможно, **последним трансцендентным политическим объектом эпохи Модерна**, в котором искали конечные политические истины и легитимности политических ценностей, институтов, практик и на который возлагал свои надежды весь 20 век: структурализм, постструктурализм, экзистенциализм, аналитическая философия, герменевтика, – возложенных надежд не оправдал, будучи в свою очередь дискредитирован и сведен к имманентному.

Однако, в то время как на Западе язык, вслед за Богом и человеком, уже умер, превратившись в средство коммуникации и инструмент властвования, в России (СССР) язык сохранял собственную сакральную сущность. Публичный политический язык еще не стал текстовой структурой, но принадлежал различным трансцендентальным субъектам, т.е. был субъектен сам по себе.

Политическое слово было властно в силу своей трансцендентности, в силу того, что тот, кто говорит, говорит не только от себя и не столько от себя, сколько служит посредником-медиатором между адресатом и словом от имени бога, класса, народа, крестьянства, аристократии. Идея, заключенная в слове, всегда субъективно превосходила того, кто ее выражает. Именно в этом заключен феномен властно-идеологического влияния русской литературы на общество, в то время как в Европе литература изначально возникла только как искусство и ремесло, как автономное интеллектуальное поле. Русско-советская литература была занята экзистенциальным поиском истины в едином поле всеобщей морали традиционного общества, поэтому она могла предписывать от имени этих универсальных моральных ценностей. Европейская литература уже только описывала внутренние миры героев-

субъектов, само пространство точек зрения, выводы же и оценки предоставлялись читателю.

Политическая речь имела в СССР колоссальное значение, так как свобода слова традиционно подразумевала «свободу быть услышанным», а публичная речь была властной сама по себе, вне зависимости от того, «кто» и «что» говорит, т.е. вне зависимости от того, кому принадлежит голос, так как говорящий был не субъектом своей речи, а именно медиатором в поле власти. В силу этого общество всегда было хорошо знакомо, как это ни парадоксально, со всеми как официальными, так и критическими дискурсами власти, а популярность марксистов или диссидентов действительно была шире именно во времена их запретов и подпольности (повальное увлечение Марксом в царской России или прослушиванием «Радио “Свобода”», чтением «самиздата» в СССР) и сразу гасла, как только они переходили на легальное и даже привилегированное положение.

В современной России ситуация стала быстро приходить в соответствие с ситуацией на Западе. В информационном обществе свобода слова означает всего лишь «свободу говорить», но вовсе не свободу быть услышанным. В условиях переизбытка информации слово в публичном политическом поле не имеет никаких гарантий быть услышанным, а даже будучи услышанным – быть воспринятым адресатом.

Власть над самим языком трансформировалась во власть над коммуникациями, т.е. власть связана не с «что говорится», не с самим языком, не с «кто говорит» (субъектом высказывания), а с тем, кто **имеет возможность сказать** публичное слово через масс-медиа, довести его до общественного сознания через повторение и умножение, лишит такой возможности оппонента. Иными словами, важно стало не слово само по себе, а опосредующие коммуникацию системы. В них язык утрачивает собственную субстанциональность, субъектность и символическую ценность, но становится лишь средством, плоским функциональным знаком, из которого складывается «информация к сведению». Политическая власть субстанционально сместилась, таким образом, из символически и ценностно нагруженного метаязыка политики в область секулярных от морали «некоммуникационных систем».

Место универсальной парадигмальной теории развития (модернизации), дающей привилегированную модель научного политологического метаязыка, сегодня постепенно занимает вытесняющая ее теория изменений, осмысляющая двойственный парадоксальный процесс глобализации/локализации – «глокализации». Если апология глобализации отсылает к универсальным политическим изменениям и процессам, то локализация, наоборот, предстанет как осмысление происходящих на планете уникальных, особенных процессов. Метаязык теории изменений двойственен и парадоксален в своей установке на рассмотрение любого явления, тенденции, процесса в соответствии с принципом дополнительности. Теория изменений весьма осторожна в выписке универсальных рецептов. Эта теория консервативна и прагматична: не реализация политических идеалов, но осмысление традиции и происходящих в реальности изменений и складывающихся альтернатив диктуют выбор оценок, определенную интерпретацию политической картины.

Альтернативность описаний политических феноменов понимается при этом не как патология, связанная с отсутствием политического идеала или объективных данных, но как следствие нормальности самой противоречивости и символической многослойности политических объектов, когда исследователи фокусируют свое внимание на разных их аспектах и характеристиках, в зависимости от своего положения в политическом поле.

С другой стороны, любое, в особенности политическое, познание является ангажированным, опосредованным интересами исторических политических субъектов, их волей к конструированию своего видения политики и соответствующей ему системы действия. В этом смысле вульгарный постмодернизм, открывая социальную субъективность политической теории, вместе с тем отрицает научность и ценность любой теории вообще. Постмодернизм показывает тем самым, с одной стороны, что он не имеет воли к знанию-власти, не имеет за собой реального политического субъекта, а потому никогда не сможет стать доминирующим политическим метаязыком. Постмодернист не может встать на позицию творца реальности, теоретического субъекта. В силу отсутствия у него субъектности реальная

политика для него исчезает. Остается лишь реальность симулякра, невозможность объективной реальности, взамен которой постструктурализм никакой другой не принимает, причем вполне в традициях жесткого, отрицаемого им же позитивизма: «Откровенно универсалистские утверждения постмодернизма о коллапсе (или иллюзорности) универсалий и его грубо объективистские заявления о невозможности объективности (и исчезновении самих объектов) есть не просто воляпюки и оксюмороны, которые он может проигнорировать своей “иронической парадоксальностью”. Это – выражение неспособности постмодернизировать самого себя, т.е. осмыслить себя не в качестве новой универсальной истины, а как специфический контекстуальный продукт специфической ситуации, рассмотренной в чьей-то специфической перспективе»¹.

Иными словами, отсутствие реального, видимого политического субъекта постмодернистской теории носит воображаемый характер. Неважно, что думает на свой счет постмодернист, главное, «кому выгодно», чтобы так думали политические теоретики. Кому выгодно? Этот классический вопрос требует определения: а) «кто является субъектом» определенного действия, высказывания, ценностной аксиомы и т.д.; б) «пристегивания» значений, идей, лозунгов к той или иной реальности, определенному референту. У любой политической теории существует субъект, тот, кому она выгодна, в том числе и у постмодернистских, рассуждающих о «смерти субъекта», «автора» и «человека в целом». Например, субъектом постмодернистских политических теорий глобализации может быть только «золотой миллиард», глобализированная буржуазия. Она, по существу, и является единственным субъектом глобализации, тем, кому она выгодна.

Необходимо отметить, что все классифицирующие дихотомии, сама дихотомичность как классический, доминирующий способ мышления современности, связаны с Просвещением, порожденным социокультурной ситуацией Запада. Политические дихотомии, явные или скрытые, воспроизводящие некие отношения и

¹ *Капустин Б.Г.* Посткоммунизм как постсовременность: Российский вариант // ПОЛИС. 2001. № 5.

процессы политического поля, на самом деле, в явном или латентном виде, воспроизводят сопутствующие им отношения власти, отношения господства-подчинения, иерархии-асимметрии. И, наоборот, отношения социальных и политических групп, ценностей, интересов, их позиции в политическом пространстве имплицитно присутствуют в политических категориях и довольно легко вычлениются в «костяке» того или иного политического метаязыка.

Символический метаязык производит акцент именно на несовместности и непереходности этих идеальных типов, что заостряется самой их взаимоисключающей постановкой и описанием этих несходств в виде бинарных пар. Здесь важно именно осмысление и заострение скрываемых обычно фундаментальных различий самих по себе, без их последующего «перехода», «снятия» или совмещения.

Теория модернизации, основанная на паре традиционное-современное, обычно старается обосновать привилегированность элементов современности, игнорируя их реальное содержание и эффективность в политической системе с позиций нормативного и должного. Соответственно, элементы традиционного, как «неправильного» и «не-нормального», описываются лишь сквозь идеологические фильтры политической современности а la Запад, как «проклятая сторона вещей».

Поэтому критический метаязык политической науки, чтобы выявить властный дискурс метаязыка теории модернизации, изымает бинарное деление из единого объективного идеологического пространства, где один член оппозиции (современное) оформляет свою привилегированность за счет другого (традиционное), и рассматривает его как два автономных независимых политических пространства, две самостоятельные **цивилизационные** альтернативы современности. И здесь начинают проступать латентные ценностные и институциональные различия, их значимость и важность как таковых в подобной дихотомии, поскольку жесткий выбор «или-или» как никакой другой высвечивает и заостряет именно различия, вне зависимости от их последующих снятий в духе модернизации, прогресса, бесклассовости, интеграции, интернационализации и глобализации.

Теория цивилизации является парадигмой критического метаязыка, с помощью которого возможно выявить идеологические коннотации и контексты, которые несет в себе, пусть зачастую и бессознательно, теория модернизации. В историческом аспекте теория цивилизации является не только самостоятельным политологическим метаязыком, но и метаязыком в отношении языка теорий модернизации. Часто она просто переворачивает бинарные коды модернизационного описания политики, отстаивая уникальные, аутентичные принципы «традиционного Модерна» России от «либерального Модерна» Запада.

В рамках цивилизационной парадигмы считается, что условием возникновения метаязыка современной политической науки с ее категориями выбора, свободы, гражданского общества, личных прав и свобод выступает разрушение незыблемой культурной традиции, ответственности всеобщей этики как метарегулятора отношений власти и общества. Это условие – необходимость объективировать, зафиксировать и написать прежде негласные и самоочевидные политические правила общежития в форме законов, прав, правил, установок и стереотипов. Очевидность и устойчивость традиций, обычаев, нравов, регулирующих властно-политические отношения, не требовала какой-либо особой их регламентации как самостоятельного типа деятельности. Разрушение всеобщей этики общества «традиционного модерна» в СССР как раз и породило насущную необходимость в развитии самостоятельной, секулярной политической теории.

Коммунистическая идеология перестала справляться с задачами легитимации политических решений с помощью воспроизводимой в ней политической этики традиционного общества, наследованной советской культурой от всей предшествующей отечественной истории. Так появляется современное политическое пространство как результат кодификации отношений значимых политических агентов в поле власти. Здесь критерий морали и этики исключается из анализа как ненаучный, и заменяется технологическим критерием эффективности. Таким образом, постсоветская политика приобретает собственный символический капитал, ее поле становится субстанциональным и самовоспроизводящимся через внутренние правила, практики, критерии действия политических агентов.

Ловушка состоит в том, что принципиальный политический выбор общества не может не быть моральным, однако все же подменяется псевдотехнологическими рассуждениями и политической теорией, свободной от морали (ценностей). Это всевозможные «модные» теории принятия решений, теории рационального управления, теории игр, бихевиористский анализ, где скупой математический просчет как вероятностный анализ издержек и выгод различных вариантов политических решений ставит их в зависимость от самого баланса исчислимых прибылей и потерь как *ultima ratio* любого политического спора и противоречия, т.е. от задействуемых средств, но вовсе не от поставленных целей.

Актуальный идеологический тренд отечественной политологии состоял в том, что «...большая часть нормативно насыщенных понятий («справедливость», «нация», «права», «патриотизм», «общество», «добродетель», «тирания» и др.), обусловливавших ранее классические идеи политической науки, вытеснены количественными данными и политическим анализом, которые привнесли такие безжизненные понятия, как «установка», «когниция», «социализация» и система. Это ... привело к смещению научных интересов с критических, нормативно значимых вопросов об основах политики к вопросам об эмпирически управляемом и политически полезном»¹. То есть от демократичного политического дискурса к энкратическому, элитарному дискурсу элиты.

Политический выбор решения осуществляется здесь уже в пределах некоей «нормы», какого-то «уже известного» инварианта базовой матрицы ценностей, которая сама по себе не подвергается принципиальному публичному обсуждению. Спор если и ведется, то лишь о «внутренних» второстепенных аспектах, связанных, как правило, со способом его реализации. Например, речь идет не о том, разрешать или нет частную собственность на землю в принципе, но о том, продавать ее или нет иностранцам, сколько земли давать в одни руки, как продавать, что делать при этом с сельскохо-

¹ Кабаченко А.П. Политический процесс и политическая система: источники саморазвития // Вестник МГУ. Сер. 12. Политические науки. 2001. № 3. С. 102.

зайственными землями и т.п. Таким образом общественное мнение, если согласиться с гипотезой его существования¹, элегантно отвлекают от сути проблемы и вся энергия дискуссий выхолщивается на борьбу за мелкие уступки. Обсуждение мелких аспектов определенного варианта решения становится способом его «фоновой» легитимации, признания его возможности. Ведь само наличие подобных «дискуссий» – «общественное обсуждение» без постановки принципиальных альтернатив и оппозиций – легитимирует подобный «выбор без выбора» и «согласие без согласия».

Проблема глобализации как процесса денационализации, трансидеологизации заключается в том, что автономизация политического поля от своих исторических условий и автохтонной культурной среды приобретает экстремальный характер. Глобализация национальных политических полей выстраивается на основе их имманентизации, «овеществления», детерминированности реальным, материальным, посясторонним, привилегии логики экономической референции в виде глобальной приватизации национальных политик. Глобальное стирание наций-государств как самостоятельных, уникальных субъектов ведет к исчерпанию фундаментальных идей, отсылавших за пределы политического поля к морали, откровению, провидению, мистике, судьбе, добру и злу... Их место занимает негативная постмодернистская идея неведомого идеального «Другого», искупающего самим своим существованием исторические ошибки постсовременной цивилизации.

Но каковы принципы нового метаязыка политики, посредством которого власть будет утверждаться в пространстве информационного общества? Здесь, прежде всего, следует обратить внимание на то, «что» и «как» она говорит и как это следует понимать. Но говорит ли постидеологическая политика что-нибудь вообще, хочет ли она вообще что-либо сказать, чтобы поддержать свою легитимность? По-видимому, уже нет: время политики как реальной коммуникации и диалога закончилось. Постидеологическая поли-

¹ См. напр. критику концепта «общественное мнение»: *Бурдые П.* Общественного мнения не существует // Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993.

тика уже не обязана рационально объяснять свои действия, апеллировать к реальному как последнему аргументу. Главным становится не семантический, а виртуальный метаязык: власть не объясняет, не доказывает, она демонстрирует свою легитимность в новом политическом пространстве – пространстве показа. Осуществляется переход от идеократического к более эффективному в информационном обществе манипулятивному способу организации власти. Вирусная метафора власти приходит взамен генетической. То есть ни один элемент, факт политики не является ни властным, ни вневластным, но находится во всеохватывающем поле влияния власти. Власть при этом проявляется и интерпретируется как принцип дополнительности, обратная сторона вещей, неявный член оппозиции, подтекст, контекст, символ, миф, «другое значение» и т.д.

Важный аспект актуальной трансформации политического поля состоит в его профессионализации как способе властного присвоения. То есть в том, что принципы политической практики, фундаментальные общественные проблемы, затрагивающие всех и каждого, определяются Постмодерном как слишком сложные для «простого» человека. Здесь фундаментальность демократического принципа нивелируется абсолютно прямолинейно. Вежливая отсылка субъектов, которые пытаются самостоятельно разобраться в сути происходящего и выработать свое мнение, к изучению все тех же «технических аспектов, условий, требований, традиций, опыта других стран и т.д.» является ни чем иным, как завуалированным утверждением некомпетентности, а следовательно, и нелегитимности мнений представителей гражданского общества, когда они выходят в политике за пределы своих профессиональных и личных интересов, претендуют на собственную интерпретацию и обобщение политических явлений.

Наконец, в глобализирующей политике сама суть демократии предстает как нестабильный процесс. Причем этот процесс не только «не оптимален» с точки зрения подобных теорий, но вдруг начинает определяться как неподконтрольный, а следовательно, «несущий угрозу демократии». Демократия, «угрожающая самой себе», естественным образом, ведет к концепции, обуславливающей необходимость «управляемой демократии», где осуществляется «своего

рода симбиоз политических декораций демократии и реально действующих механизмов олигархии либо авторитаризма»¹.

То есть структуры гражданского общества устраняются от участия в политических решениях под предлогом их некомпетентности и непредсказуемости в пользу монопольной вертикали ангажированных элитой экспертов с правом решающего голоса². Однако профессиональному эксперту не нужна поддержка демоса. Он говорит только от своего имени. Мнение эксперта опирается только на него самого и священный авторитет науки. Но техничность и профессиональность заключений эксперта не делает его объективным, нагружая различными специфическими «идолами» мышления. Профессионализация политики является модусом ее де-демократизации. Проблема вовсе не в том, что «независимо-объективное» мнение экспертов необходимо власти для укрепления легитимности, а в том, что политический выбор осуществляется исходя из гипотезы, согласно которой составить собственное мнение по какой-либо общественной проблеме способен лишь специалист, профессионально занимающийся данной проблемой. При такой установке общество в целом изначально отсекается от участия в принципиальных политических решениях. В силу этого факта гражданское общество (и его ядро – мифический, «потерявшийся» теоретиками-идеологами и микроскопический в условиях современной России «средний класс») используется государством лишь как главная легитимирующая идеологема – инстанция для легитимации уже принятых решений.

Автономное политическое поле, в современном его понимании, образуется тогда, когда агенты этого поля получают право самостоятельно устанавливать правила его функционирования и определять политические ценности, без оглядки на что-то «вне» этого поля. Можно утверждать, что в России субъекты этого поля и формы их отношений закрепились. Проблема же заключается в смысловой и символической дефектности политического универсума, внутри которого осуществляются эти отношения.

¹ Неклесса А.И. А la. С. 40.

² Кара-Мурза С.Г. Экспертное сообщество России: генезис и состояние // Идеология и мать ее наука. М.: Алгоритм, 2002.

Разрыв официального «нормативно-прозападного» дискурса власти с политической реальностью привел к критическому расхождению исторического политического универсума и доминирующей нормативной политической теории, их отчуждению и автономизации. Средством преодоления такого разрыва может стать переориентация теоретического субъекта политической науки на сравнительную политическую историю, политическую этику, рефлексию традиции, политическую онтологию, критику, утопию.

В заключение можно отметить, что постидеологические общественные трансформации и революции являются уже не народными и не демократическими «верхи не могут, низы не хотят», не объективными «конфликт производительных сил и производственных отношений», но субъективными, символическими революциями, в основании которых лежит воля, конструирующая «иное» политическое бытие. Действительное политическое пространство все больше детерминируется пространством виртуальным, пространством представления.

И эта открепленность от традиции, символов аутентичного политического универсума, истории, референта позволяет «осимулякрить» постидеологическую систему политического знания, сохраняя подобное состояние политической науки до тех пор, пока не возникнет новый политический проект, не принадлежащий настоящему, которому, на самом деле, принадлежит и пост-Модерн, но утопические контуры которого только начинают проступать на пороге современности.

В целом дальнейшие перспективы решения заявленных нами проблем и развития отечественной политической науки могут быть связаны с переосмыслением и рефлексией политической науки над своим «внутренним метаязыком», т.е. фундаментальными эпистемологическими аксиомами, которые лежат в основе привилегированной политической нормы как доминирующей методологии получения политических истин.

Это переосмысление предполагает существование теоретически значимого субъекта, способного сформулировать выходящие за пределы «политической физики» конечные начала, задачи и цели отечественной политической науки как единого целого. Проблема в

том, что без аутентичного политического/теоретического субъекта политическая наука способна лишь на технологические заимствования и механическое воплощение принципов «универсальной науки» на примере частного объекта, в который превращается в таком случае весь российский политический универсум. Условием идейно самостоятельной российской политической науки, а не «политологии по поводу России», является существование «теоретического субъекта для себя», сознающего свою связь со значимым политическим субъектом внутри отечественного политического поля.

Это осознание является способом выхода на контекст, жизненный мир системы политического знания, выхода на ценностные ориентиры при формулировании конечных целей и задач политической науки, а не бессубъектного поиска «правильности» по заданному алгоритму, который не проблематизируется. Тавтологическая структура метаязыка создает здесь ситуацию, когда существует лишь один возможный политический субъект – действующая власть. Однако дискурс правящего класса не тождествен дискурсу общества в целом, так как политические интересы нации/государства/классов обычно находятся в конфликтном взаимодействии (в условиях современной России это взаимодействие фактически приняло характер «холодной гражданской войны»). Изначальная проблема, состоящая в том, что политические факты всегда опосредованы чьим-то видением, ценностями, интересами, – просто умалчивается. Принятие политического факта как объективной данности свидетельствует о вольном или невольном согласии оппонентов с господствующей идеологической перспективой, где любой политический факт объективен через тождество доксе, здравому смыслу, общественному мнению, которые определяются, а потому совпадают с мировоззрением и интересами элиты.

Рефлексия ангажированности политической мысли историческим пространством политического универсума является способом обретения теоретической субъектности. Обретение теоретической аутентичности связано с осознанием своей политической субъектности, определения своего места в сетке идеологических координат, практической вовлеченности в историческое пространство данного политического универсума. Аутентичность всегда

субъективна. Реально она достижима в рамках не всех существующих моделей метаязыка. Методологически этот процесс связан с ориентацией на рефлексию политических ценностей, политическую онтологию, историю, осмысление метаязыка политической науки, представление о политике как процессе, вовлекающем в себя как политических деятелей, так и их наблюдателей.

Дальнейшие исследования в обозначенном нами направлении могут быть связаны с осмыслением утопических и критических вызовов будущего, затрагивающих политику в целом. Они требуют соответствующей трансформации эпистемы политической науки, ее метаязыка. Опознание структур новых политических проектов может быть связано с разработкой политической риторики, связанной с «новыми врагами и угрозами». «Враги», как ничто иное, способствуют тотализации аморфных идей в концептуальные системы представлений, вокруг которых структурируются коллективные политические субъекты. В этой связке важны и политические «антипроекты» (экологические, фундаменталистские, антиглобалистские, традиционалистские и т.д.), выполняющие роль резонаторов современной политической системы. Их роль увеличивается по мере интенсификации процессов «глокализации», которой они противостоят. Важна здесь и нормативная интерпретация политической перспективы/ретроспективы, определяющей задачи настоящего как «политического реального».

Вряд ли методологической основой нового политического проекта станет критический метаязык. Критический метаязык негативен. Отрицая настоящее, он находит опору только в прошлом/будущем. Настоящее существует для критического метаязыка только как функция от прошлого/будущего, отсюда его «несущественность», вторичность, либо «следственный», либо «предвосхищающий» характер. Этим же определяется и отсутствие в нем позитивной программы, которую можно было бы перевести в план действия «здесь и сейчас», а также реального субъекта, с помощью которого можно было бы осуществить критическую альтернативу настоящему. Поэтому, несмотря на всю эффективность критики настоящего, вряд ли критический метаязык имеет шансы, не трансформируясь, оставаясь в рамках классического Модерна, стать содержанием будущего.

Судьба политического метаязыка Постмодернизма также остается неясной. Остается спорным вопрос о том, что первично в актуальных постмодернистских трансформациях политики: онтологическая революция политического бытия, связанная, например, с техникой, «экономическим базисом» капитализма, глобальным перераспределением труда и капитала, системами массовой коммуникации, либо революция означающих форм, «систем фраз», влияющая на политическую реальность. Что в постсовременной политике доминирует: знаково-виртуальная сфера политики как культурная рефлексия, выводящая за пределы «настоящего» и «реального» – капитализма, социализма, классического Модерна, рациональной науки, или онтологическая трансформация, т.е. новый социально-политический порядок, возникающий уже по ту сторону Современности?

Постмодернизм, акцентируя значимость отличий, теоретически выстраивает себя на внутренней противоречивости Модерна-Современности. Базируясь на реальных отличиях и противоречиях, он строит на них теоретическую систему глобальной политической идентификации. Однако Постмодернизм не может решить проблему их сосуществования в форме политической демократии, предполагающей реальную конкуренцию и иерархизацию различий. Мультикультурализм здесь мгновенно оборачивается этнонационализмом, а различия борьбой за основанные на них привилегии и нормы. Требования равнозначности, толерантности остаются лишь благими пожеланиями, так как значимость различий для политических субъектов в интерсубъективном политическом пространстве не может проявляться лишь в теоретических пожеланиях по поводу способов их толерантного сосуществования, но только через волю к определению реальной значимости отличий, их закреплению в законах, подчеркиванию их асимметрии, исключительности, привилегированности и т.п.

Постмодернистские политические теории симулятивны, не связывая себя с реальностью, т.е. нереальны, а классические, наоборот, слишком реалистичны, функциональны и фактоцентричны, чтобы обеспечить действенную политическую рефлексивность в условиях «Нового века», связать воедино политическую теорию

познания, этику и практику. Настоящая ситуация политического мышления характеризуется интуитивным предчувствием грядущего политического проекта, на который указывает Постмодерн, с его крайними формами скептицизма, нигилизма, декадентства, тотальной иронией и вторичностью, которые характерны для «последних времен». Поэтому, указывая на кризис Модерна, Постмодерн не будет содержанием нового политического проекта, новой политической эпистемы, так как сам по себе он содержательно пуст, и эта очищающая пустота освобождает место для чего-то нового, Другого.

Ключевой теоретический концепт постмодернистов – Другой, возможно так никогда и не обретет его в реальности. В целом, проблема Другого является историческим преемником «идеального» онтологического означаемого, в роли которого уже выступали и дикари (дискурс Просвещения), и крестьяне (дискурс народников), и рабочие (дискурс марксизма), и население третьего мира (дискурс антиглобализма) и т.д. Несомненно, что ключевая этическая компонента проблемы Другого имеет на Западе большое значение, придавая через чувство вины высокую интенсивность обдумывания данной проблеме. Однако реальная материализация Другого, как показывает практика, неизбежно приводит к краху этого утопического представления, когда оказывается, что Другой – это эмигрант, беженец, фундаменалист, террорист, штрейкбрехер и пр., а потому, при ближайшем рассмотрении, вовсе не столь идеален и безобиден, как это ему приписывается постмодернистами.

Кроме того, имеет ли разрушение легитимирующей силы политических метарассказов столь большое влияние на состояние политической системы, которое им склонны приписывать те, кто их сочиняет? Замечают ли все эти крахи, катастрофы и сдвиги реальные общества, которым они предназначены, либо мы имеем дело лишь со специфической формой «травмированного реальностью праздного сознания», (Б.Г. Капустин), не покидающего пределов «башни из слоновой кости»?

Во-первых, идейная победа политического Постмодерна означала бы одновременно его конец, связанный с тем, что он поте-

ряет свою «материальную базу», объекты критики в виде привычных идеологий и утопий, через которые он себя теоретически воспроизводит.

Во-вторых, действительно, при всех своих новаторских методологических и критических достоинствах Постмодерн – это «вторичный Модерн». То обстоятельство, что привычные для современности политические ценности и институты Просвещения и Модерна оказываются либо неуниверсальны, либо перестают эффективно работать, вовсе не значит, что они перестали быть необходимы современной политике, что она стала возможна без них, что им существует эффективная альтернатива в настоящем.

В-третьих, борьба постмодернистского метаязыка за субъективный идеализм в политике, принципиальную отмену объективной политической реальности, дискредитацию универсальных политических ценностей, институтов, норм, истин приводит в реальной политике только к войне различий, борьбе всех против всех, партикуляризму и дроблению больших политических форм. Поэтому теоретически естественная гармония частных мнений и сосуществование различий, их суммирование или снятие в логике Постмодерна оказываются невозможным.

В-четвертых, институты и представления классического политического Модерна, на наш взгляд, действительно испытывают кризис, связанный с тем, что он покинул породившую его социокультурную ситуацию Запада и претендует в своем догматическом виде на роль глобального политического проекта. На этом пути возможны два варианта развития событий. Либо политический Модерн сможет трансформироваться во что-то вроде «плюрализма модерностей», избавившись от своих нетранзитивных, уникальных черт особенного, которые характерны только для Запада, в пользу своих черт, которые действительно могут стать всеобщими. Либо Модерн будет в глобальном плане вытеснен постсовременным политическим проектом, который абсолютно точно не будет связан с идейным течением Постмодернизма, так как последний не обладает, формулируя кратко, «позитивной концептуальностью» как спо-

способностью воспринимать и интегрировать «иное» и созидать «тотальное» (универсальное).

На наш взгляд, разрыв сущего и должного в доминирующем энкратическом метаязыке современной российской политики таков, что отсутствие реальных социально-политических взрывов можно объяснить лишь утратой политической теорией обратной связи, резонанса с политическим означаемым, ее постмодернистской автономизацией от политической реальности. Автономизация превращает теорию в обозначение того, чего «уже» или «еще» нет, т.е. в симулирование в реальности того, что должно быть (идеологическая функция). Это, в свою очередь, очень мешает восприятию того, что есть в реальности «на самом деле».

Сегодня российская политическая система не обладает характеристиками тотальности и целостности, поскольку стоящий за ней комплекс скрепляющих власть политических идей фрагментирован и ситуативен. Официальная идеология, фактически, не может впасть в системный кризис «по определению», поскольку носит виртуальный характер, усиливаемый отсутствием реальной, т.е. опирающейся на «действительные социальные субъекты», системно-структурной оппозиции, могущей этот кризис породить. С равным основанием можно сказать, что постсоветская политика является, с классической идеологической точки зрения, сплошным кризисом, приобретшим черты «естественности». То есть реальная политика остается на протяжении всего постсоветского периода деидеологизированной, персонализированной, фрагментарной и контекстуальной, отсылающей в качестве своего конечного означаемого к «иному», будь то Запад, СССР, воображаемая Евразия/Азиопа или «светлое глобальное капиталистическое/коммунистическое будущее». В любом случае постсоветская реальность оказывается функцией от порядка «иного». Отсюда возникает постмодернистская проблема «реальности» настоящего.

Рационализированные универсальные политические ценности и критерии «идеологического периода» перестают эффективно работать. Это вовсе не значит, что они перестали быть политике необходимы, что она стала возможна без них. Политика в современном идеологическом виде возможна только как «общее дело», невозможное без опре-

деления его статуса всеобщности и отсылки к Большим Субъектам: государству, истории, классу, традиции, элите, нации и т.д. В этом смысле Постмодернизм не несет практического решения поставляемых им же дилемм и парадоксов, не порождая политического субъекта. Отсутствие жесткой тотализирующей нормы означает, в реальной политике, только еще более жестокую войну за норму.

Работа над разрешением обозначенных Постмодерном политических противоречий и дилемм Модерна, осмысление новых утопических и критических вызовов, затрагивающих мировую политику в целом и трансформирующих эпистему политической науки, освоение политической наукой неклассических и междисциплинарных методов исследования, осмысление политических тенденций «Нового века» – является актуальным направлением для дальнейших исследований.

Опасность на этом пути, на наш взгляд, состоит в том, что операция снятия, синтеза противоречий весьма коварна. Часто эстетичность или механическое сложение выступают как субституты самой истины. Поверхностный синтез возможен всегда, но не всегда он в последующем дееспособен. Существует целый ряд концепций, связанных с именами К.-О. Апеля, Ю. Хабермаса, Р. Рорти и др.

Эти авторы в своих концепциях стремятся синтезировать указанные нами методологические различия. Ловушка состоит в том, что подобные синтезы остаются латентно противоречивыми уже внутри самих себя. На самом деле, осознания теоретиком заявленных различий вполне достаточно для совершенствования любой модели метаязыка политической науки. Наша позиция состоит в том, что конструирование принципов нового политического метаязыка, который синтезировал бы выделенные нами в книге методологические противоречия, не представляется возможным, поскольку эти противоречия являются, на наш взгляд, более значимыми, чем возможные тождества, снятия и синтезы, которые предлагаются в настоящем.

Заключение

Обращение к метаязыку политической науки осуществляется путем прерывания самореференции политической теории, путем выхода на метод и метапарадигмальную структуру политического знания, определяющую критерии его «научности» и «истинности». Этот выход позволяет наблюдать тот факт, что политическое знание тяготеет к одной из структурно-антагонистических моделей метаязыка: знаковой или символической, призванных разрешить проблему познания как проблему способа соотношения означаемого и означающего в пространстве языка как трансцендентального условия мышления. Метаязык имеет характер априорного, нормативного согласия научного сообщества по поводу доминирующей структуры познания в политической науке, ее методов и критериев, которые непосредственно вырастают из трансцендентального языка вообще, как условия любой коммуникации, производства, понимания и обмениваемости значениями, имеющими **интерсубъективный** смысл.

Язык является формой мысли, знаковой системой. Политическую область исследований также можно рассматривать как знаковую систему. Метаязык политической науки – это язык «знаковой системы второго уровня», с помощью которого говорят о языке-объекте политической теории, выступающей в качестве первичной знаковой системы в области политического знания. Обращение к метаязыку политической науки как к дискурсивной структуре политического познания осуществляется посредством саморефлексии теоретического субъекта. Метаязык политической науки извлекается из ценностных и методологических аксиом познания политики, к которым отсылает любая политическая теория, если она хочет избежать ложного круга, т.е. объяснения одних понятий через другие – постоянного «доказательства доказательств». Для политической теории таким аксиоматичным основанием, которое не позволяет ей повторяться до бесконечности, служит Язык как таковой. Он является универсальной, естественной знаковой системой, из и над которой выстраиваются все прочие, «искусственные» формы знаковых систем.

Априорно-аксиологическая структура языка задает искусственно выделяемую структуру метаязыка политической науки. Речь идет о разбивке языка на два структурных принципа, две микромодели, которые определяют собой ценностную и методологическую структуру метаязыка политической науки: знакового или символического. Будучи взаимоисключающими, эти структуры образуют методологическое единство при абстрагировании от политической теории, направленной на объект, т.е. политику, и обращении к метаязыку политической науки как таковому. Это методологическое единство связано с логикой принципа дополнительности.

Политику и описывающую ее политическую науку можно рассматривать на следующих уровнях.

1. Политика как система действия. Представляет собой непосредственную политическую практику – «нулевую степень политики». Здесь политический субъект неспособен к саморефлексии и самоосмыслению, будучи связан с политическим как с доксическим – общественным мнением, здравым смыслом и разного рода самоочевидностями. Политики не производят политическую теорию и не осмысливают политическое поле теоретически. Они ретроспективно воспроизводят, «отражают» политическую теорию на основе умножения и повторения уже имеющихся моделей метаязыка. Политическое знание здесь подчинено практическим целям и привлекается лишь вспомогательно-легитимирующим образом, задним числом. То есть политическое знание может играть лишь идеологическую, легитимирующую роль.

2. Внешний метаязык (метаязык политики) – теоретическое схватывание политики, направленное на политику как объект, связанное с «рецептурным» применением теоретических схем и парадигм, которые сами по себе под вопрос никогда не ставятся. Таково большинство политологических текстов, особенно прикладного характера. Языком-объектом внешнего метаязыка может являться только язык политики. В этом смысле «внешний метаязык» методологически ограничен и детерминирован политической властью, т.е. идеологичен. Идеологичность состоит в том, что теоретический субъект не способен к самоуяснению и прерыванию самореференции, так как это его делегитимирует. Поскольку релевантность по-

литической теории определяется «трансцендентальным согласием» научного сообщества относительно ее доказательных аксиом, то проблематизация этих аксиом внутри данной языковой игры (научной, властной, мифологической, этической) ведет к разрушению и релятивизации данной модели языка. Подобный подрыв доверия возможен, как правило, только извне.

3. Внутренний метаязык (метаязык политической науки) – ориентирован на означающие внешнего метаязыка, саморефлексию политического со-знания, то, как конструируется политика в пространстве политического представления. Рефлексия над политикой осуществляется здесь опосредованно, так как предметом рефлексии выступает корпус самих политологических текстов и теорий. Внешний метаязык здесь сам превращается в «язык-объект». Внутренний метаязык ориентирован на теорию метода и субъекта познания, являясь метаязыком самоописания политической науки. Структура подобного метаязыка предполагает выход на метапарадигму политической науки.

Соответственно, можно выделить следующие модели метаязыка политической науки. «Внешний метаязык» связан со знаково-тавтологической моделью политической науки, самореференцией власти. Границы политической науки имеют здесь жесткие позитивистские рамки, связанные с универсальностью метода и универсальностью наблюдателя. Исторически этот метаязык связан с приходом политики в идеологическое состояние Модерна и интересами Буржуазии, стремившейся свести все возможные политологические дискурсы к универсальности собственного дискурса элиты, отождествлением его с политически всеобщим, окончательным и внеисторическим состоянием политики.

Эта апология политической действительности как такой, в которой заложено все, что «могло бы быть», явно или не явно имеет форму идеологии (по К. Манхейму), играющей на руку существующему в политике статус-кво. Границы жизненного мира политики свертываются, отождествляясь с границами позитивистского метаязыка. Любое высказывание становится истинным, т.е. непротиворечивым, просто потому, что отсутствует внеположный ему контекст, так как текст и контекст тождественны. Поэтому весь

язык, весь корпус возможных значений политической истины принадлежит энкратическому метаязыку с его особой формой сверхрациональности.

Парадоксальный метаязык появляется как структурно оппозиционный метаязык политической науки, критикующий самоочевидность как начало политической мысли. «Классическая эпистема» знаково-энкратического метаязыка расценивается как ущербная форма науки, ориентированная на поиск истины как властной «оптимальности», эффективности, правильности, тождества буржуазного разума и реальности. Однако историческая форма этой правильности, ее ангажированность не осознается производящим ее теоретическим субъектом, поскольку в рамках жесткого нормативизма нельзя проблематизировать цели и истоки господствующих норм.

Дело в том, что вопрос об аксиомах политического знания является одновременно вопросом о легитимности политического порядка, который они призывают/призваны обеспечить. Парадоксальный метаязык утопичен в том смысле, что взрывает идеологическое политическое бытие и привычки мышления, с точки зрения того, что могло бы быть, как первоначала мысли. И в этом смысле то, что могло бы быть не содержится в том, что есть. Но только таким образом, негативируя и парадоксализируя политическую реальность, критикуя данный властный порядок, можно ее рефлексивно осмыслить. Иначе власть дискредитирует в своем внутреннем идейном пространстве, по критерию норма/не-Норма, любую попытку самостоятельного мышления, не принадлежащую субъекту власти.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	5
Глава I. СТРУКТУРА ДИСКУРСА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ	8
§ 1. К постановке проблемы	8
§ 2. Знаковая и символическая модели метаязыка политической науки	14
§ 3. Антропологическое априори модернистской политической науки	55
§ 4. Исторические метаязыки политической науки и появление постмодернистской политики	69
Глава II. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТАЯЗЫКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ	90
§ 1. Методологические модели метаязыка политической науки: тавтология, парадокс, нарратив ...	90
§ 2. «Лингвистический поворот» политической науки: от идеологии к нарративу	134
Глава III. МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ	161
§ 1. Современные парадигмы политической науки: Россия как объект описания	161
§ 2. Конфликт метаязыков: возможна ли новая (синтетическая) модель метаязыка?	208
Заключение	232

Научное издание

Мартьянов Виктор Сергеевич

МЕТАЯЗЫК ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Рекомендовано к изданию Ученым советом
Института философии и права и НИСО УрО РАН

ЛР № 020764 от 24.04.98

Редактор **О.И. Бриль**
Компьютерная верстка **А.И. Никоновой**
Дизайн обложки **Н. Коваль, «Папир-Рус»**

НИСО УРО РАН №123(03)

Подписано в печать 25.11.2003 г.
Бумага офсетная.
Гарнитура Таймс Уч. изд. л. 17,8
Тираж 1500 экз.

Формат 60x84/16.
Печать офсетная
Усл. печ. л.
Заказ 217

Институт философии и права УрО РАН
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 68.

Размножено с готового оригинал-макета в типографии УрО РАН.
620219, г. Екатеринбург, ГСП-169, ул. С. Ковалевской, 18.